РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

На жаль, УкрЛіб не знайшов цей роман українською мовою, тимчасово публікуємо россійською.

СПЕКТАКЛЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Внезапное исчезновение с литературного горизонта творчески активного писателя Ярослава Петруни породило множество разговоров и догадок. Судачили и о несчастном случае, и о глубоком творческом кризисе, и об эпохальном произведении, которое вроде бы, уйдя от окололитературной и житейской суеты, завершает прозаик. Знаю нескольких литераторов, которые утверждают, будто встречали живого и здорового Петруню то в тюменской глубинке на нефтепромыслах, то в группе энтузиастов, задавшихся целью пешком пересечь пустыню в Средней Азии, то на рыболовном сейнере на Балтике, где он трудится простым матросом, изучая таким образом жизнь. Однако слишком уж широкая география этих встреч не могла убедить в достоверности сведений ни семью писателя, ни меня, его земляка-односельчанина и в какой-то степени друга. Лично мне, когда я приезжаю в наше родное село Пакуль, чуть не в каждом шустром сельском мальчишке с пытливыми глазенками видится Ярослав Петруня, — но что из того?

Надеюсь, пройдет время — и тайна будет разгадана, по крайней мере, ни жена, ни сын писателя, ни я не теряем надежды. А может, разгадка тайны действительно в тех лобастых мальчишках с пытливыми глазами, которые вырастут и завершат то, что мы по тем или иным причинам не

доделали? Без надежды на грядущие поколения, как бы ее ни ревизовали интеллигентствующие скептики, жить нельзя, и я живу этой надеждой, как жил в свои последние дни перед внезапным исчезновением Ярослав Петруня.

Пока же для приближения разгадки тайны могу сделать единственное — на правах человека, который по поручению жены писателя попытался навести порядок в его бумагах, предложить читателю неизвестное, почти завершенное произведение Ярослава Петруни "Спектакль", главным героем которого является сам писатель. Почти — потому что роман представляет собой три самостоятельных книги-исповеди, из которых разве что последнюю можно считать более-менее законченной. Две первые книги романа — это лишь, как говорят певцы, проба голоса, но голоса во многом нового и неожиданного для Ярослава Петруни. Голос писателя в этих литературных пробах крепнет, становится громче и вдруг — обрывается на полуноте. Чтобы в следующей книге — все снова, но уже в иной душевной и литературной тональности.

Впрочем, в тонкостях этих пусть разбираются критики, это — их хлеб, а в мои обязанности, обыкновенного служащего, входило: разыскать в архиве писателя три толстые тетрадки, исписанные рукой Ярослава, его нервным, стремительным почерком, отдать роман в перепечатку, вычитать и отнести в издательство. Я не позволил себе выправить в рукописи ни единого слова, даже на тех страницах, где Ярослав Петруня выводит одним из героев романа меня, Василя Самуту, и рисует не совсем правдивым и порой не очень привлекательным мой образ. Будем честными перед собой, а современники и потомки все поймут правильно. О эта наша извечная вера в разум человеческий и интерес к нам потомков!..

Однако — ею живем.

Василь Самута

Книга первая

КРИК

Глава остросюжетная

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН

Я похож на самолет, разваливающийся в воздухе. Вот отвалилось одно крыло, второе, переломился фюзеляж, и из разлома, как зернышки из треснувшей маковки, посыпались люди, умирая от страха еще в воздухе, а то, что осталось от самолета, еще летит по инерции, вычерчивая след на экранах радаров, и, если бы не раздался в наушниках панический крик молоденького штурмана, на земле и не знали бы о катастрофе. Я — падающий самолет. Я — смертельно раненный зверь, но я еще оставляю цепочку следов на снегу, меня еще можно вести стеклянным глазом фоторужья, я такой красивый, такой величественный на фоне заснеженного леса, что еще прошусь в кадр, но уже в следующий миг упаду под куст и сдохну. Я — дерево, внутри сплошь трухлявое, но я еще возвышаюсь над лесом, как царь деревьев, хотя по верхушкам берез и дубов уже катится степной ветер, который повергнет меня к ногам мелких осин, и короеды уже пируют во мне.

Я — тот, кого уже нет, хотя все думают, что он есть.

И я пишу приключенческий роман. О самом себе. И о следователе Самуте, которого я выдумал, чтобы его глазами взглянуть на крутую параболу своей жизни. Актеру нужен зритель. Я — актер. На сцене жизни.

Итак, приключенческий роман.

В полночь в квартире следователя Василя Самуты (я сделаю его уроженцем Пакуля, своим бывшим одноклассником) тревожно зазвонил телефон. Начало, конечно, банальное. Литературный штамп. Но я давно уже весь в литературных штампах, в словесных красивостях, в словесной шелухе. Шелуха сыплется из-под моего пера. Разучился писать. А может, никогда и не умел. Нет, все же умел — эти незабываемые утра во Мрине, лихорадка работы, когда слово, живое слово, рождалось в моей душе…

Так вот — телефонный звонок в полночь.

— Самута слушает.

Подчеркнуть профессиональную деловитость и сдержанность в голосе.

С годами я все больше люблю детективы. Часы забвения. Кажешься себе молодым, здоровым смельчаком, а не автоматом, штампующим мертвые слова…

Нужная деталь.

Следователю позвонит моя Ксеня. Из нашей спальни, в голубом, отороченном кружевом пеньюаре, пеньюар я привез в прошлом году из Канады, а может, в японском кимоно или в халате из китайского шелка. Жена писателя, широко известного в кругу семьи и даже за ее пределами: меня читают редактор и корректоры, а также несколько друзей, которых я тоже читаю и хвалю…

Будьте взаимно вежливы.

Ты похвалишь сегодня, завтра похвалят тебя, и всем будет хорошо. Живешь сам — дай жить другому.

Голос Ксени — взволнованный. Синонимический ряд по словарю: испуганный, встревоженный, возбужденный. В ее голосе — неподдельная тревога, Ксеня прижилась подле меня. Как кошечка. Год за годом, десять лет, уже скоро двадцать. Она уверена, что так будет всегда. Машина, дача, заграничные поездки, в доме — ковры и хрусталь, польская дубленка и французское деми-пальто, и можно не особенно торговаться, когда приходишь на Бессарабский рынок.

У нее единственная финансовая забота — вовремя снять деньги с книжки. Счет в сберкассе — колодец. Моя обязанность — следить, чтобы он не пересох. Чтобы однажды утром контролер не сказала моей Ксене: "Извините, но на вашем счету — только рубль". Мировая катастрофа. "У нас что — нет денег?" — спросит с крайним удивлением. Всегда были. Мама-киска, говорил сын, когда был маленьким. Киска любит тепло. Пригреется под бочком и мурлычет. И вдруг на киску повеяло холодом.

— Это Ксеня. Извини, Васенька, что разбудила, но я волнуюсь. Ярослав должен был приехать еще утром, уже полночь, а его нет. Я места себе не нахожу…

Ярослав — это я, настоящий, невыдуманный. Ярослав Петруня, писатель. Фамилия не звучит, правда? В Тереховке я придумал себе псевдоним: Приднепровский. И подписывал так первые свои заметушки в районной газете — о силосовании кукурузы и засиженных мухами витринах магазинов. В редакции подшучивали, что подпись длиннее моих заметок. Но потом я вновь стал Петруней. Потому что никто в Пакуле не догадался бы, что Приднепровский — это я, замухрышка в домотканых штанах, который пас свинью на выгоне за селом.

— Не волнуйся, Ксеня, может, он остался еще на один спектакль, руководство театра очень просило. — Самута будет успокаивать мою жену, а сам думать о Маргарите, с которой мы как раз допивали мускатное шампанское, когда он вошел в номер попрощаться.

— Я звонила в гостиницу, он рассчитался и выехал рано утром.

— Да-да, теперь я вспомнил, он порывался заехать в Пакуль. И меня приглашал, но я спешил в Киев, к сожалению, в служебные обязанности следователя не входит сопровождать известного писателя по местам его детства. А если он заехал в Пакуль, вырваться оттуда, как ты понимаешь, Ярославу не так просто, знаменитость, народ знает и чтит прославленных земляков. Это я могу проведать стариков тихо и скромно…

— Ярослав обязательно позвонил бы, что задерживается, не на краю света ваш Пакуль. Он всегда звонит, когда задерживается.

Это правда. Я всегда звоню, когда задерживаюсь. Даже если задерживаюсь у любовницы. Я могу звонить Ксене, держа на коленях женщину, и голос мой не дрогнет. Я — великий актер.

— Знаешь, я свяжусь сейчас с председателем пакульского колхоза. Поздновато, правда, но извинюсь.

— И сразу же перезвони мне. Я буду ждать.

— Договорились.

Но сперва Самута позвонит в морг и в милицию. Следователь есть следователь. К счастью, тела моего в морге не окажется. А в милиции скажут, что на мринском шоссе аварии в последние три дня не регистрировались. И уже тогда Самута наберет номер председателя пакульского колхоза.

— Самута? Это который во главе общественного порядка и народного добра? Ну-ну. А я сейчас и во сне об удобрениях и силосе думаю, такая специфика работы, так что не больно извиняйся за поздний звонок. Видел нашего Петруню, видел. "Здесь где-то детство я оставил..." — пошутил председатель.

Это у нашего Петруни виршик такой был: "А где — ищу и не найду..." По выгону, где свинью хлопцем пас, долго вышагивал, ровно аист. Мы еще поговорили о том о сем, какой-то он был взъерошенный, стал вдруг исповедоваться мне, как батюшке... Наверное, у мачехи ночует. Хочу, говорит, к тебе в колхоз. Ну, я посмеялся, еще, говорю, нет у нас такой должности — писатель... Может, и доживем когда-нибудь, чтобы каждому колхозу — по писателю. А пока кому что на веку написано: одному в поле пахать, другому — на бумаге. И то и другое — дело трудное, если не для аплодисментов в президиуме, а по-настоящему...

Самута перезвонит моей Ксене и скажет ей подчеркнуто бодро:

— Не волнуйся и спи спокойно, твой гений — в Пакуле, ночует под родной стрехой. Уверен, что утром он явится пред твои ясные очи. Словом, не бери дурного в голову. И пусть позвонит мне, когда выйдет на домашнюю орбиту.

Но утром следователю позвоню не я, а председатель колхоза из Пакуля. И в голосе его будет тревога:

— Не разбудил? Да разве ж я знаю, когда интеллигенция изволит просыпаться? Это мы, темные, спозаранку на ногах. Тут такая оказия. Поехал я с рассветом в поле, к трактористам, ребята у нас хорошие, однако проверять надо. Только выехал за село, глядь, на полевой дороге, на клинке, как мы говорим, там еще овражек неподалеку, знаешь, куда пацанами за щавелем бегали, стоит Петрунина "Волга". Не запертая. Ключи на сиденье.. И никого вокруг. Я съездил к трактористам, возвращаюсь — стоит, как и стояла. Я — к мачехе, не ночевал ли Ярослав. Нет, говорит, не ночевал. Заезжал еще днем, походил с полчаса по огороду и попрощался. Так, может, позвонить начальнику милиции?

Самута попросит до его приезда никому не звонить, вызовет служебную машину и поспешит в наше родное Полесье, в живописный край лесов, рек и озер, как пишут в рекламных буклетах для туристов и на страницах посредственных романов.

Захватывающий, динамичный сюжетец я придумал!..

Глава лирическая

СВИНЬЯ НА СТЕРНЕ

Многое забылось, а это живо до сих пор: клинышек поля в стерне, окутанный утренним туманом, медленно, словно во сне, уплывающим к оврагу; скирда еще золотой соломы, на скирде — неподвижный аист, под скирдой белоголовый малец с книгой на коленях, а в ложбинке, где полегшая пшеница с осыпавшимися колосками, бело-розовая свинья, похожая на облако, подсвеченное предзакатным солнцем.

Воспоминание такое четкое, так глубоко врезалось в память, что, кажется, существует отдельно от меня: достаточно сесть в машину, промчаться двести километров, отделяющих Киев от Пакуля, свернуть, чуток не доезжая до села, у старого колхозного сада на грунтовую дорогу, что вьется мимо сельского кладбища, овчарни и Демьяновой риги, к нашему хутору, и я увижу все это наяву: стерню в паутине тумана, похожую на белое облачко свинью, брюхастую, раздобревшую за лето, а под скирдой соломы, на которой проводит последние летние деньки перед путешествием в теплые края аист, — самого себя. В лабиринте жизни это воспоминание для меня — как нить, сулящая счастливое возвращение под голубое небо из самых темных и глубоких закоулков в мир, который с каждым днем отдаляется, но не меркнет, а живой блеск его, отдаляясь, становится все тревожнее.

Я смело, порой безоглядно, шел по лабиринту жизни, потому что жила в душе уверенность, что в любую минуту, стоит лишь захотеть, смогу вернуться назад и начать жизнь сначала, уже иначе, совсем иначе.

Я жил так, будто у меня, как у спортсмена, впереди есть еще одна попытка, а может, даже и не одна…

И вот я уже возвращаюсь, пока что в мыслях.

Я всегда любил лето, летом длинные дни и можно с рассвета до сумерек, когда буквы уже начинают сливаться, читать книги. Не любил ночей, особенно осенних и зимних, — спать родители укладывались рано, отец или мачеха фукали на ламповое стекло: "Нечего на глупости керосин жечь!" — и мой спасительный, мой книжный мир покидал меня с последним миганием фитиля. Еще я не любил полудня: мачеха возвращалась с поля уставшая и злая, костерила меня и за

траву, что мало нарвал, и за воду — мало наносил, и за свинью, что худая, за то, что теленок не растет, что много хлеба съел и молока много выпил, — по мнению мачехи, я виноват был во всех бедах мира, а главное — в горьком горюшке ее судьбы. В обеденные часы я старался не попадаться ей на глаза с книгой в руках. Одну книжку, а была то повесть о путешествии на Венеру, настигло возмездие: изрубленная топором, которым мачеха секла траву для свиньи, она обогатила рацион нашей Рохли. Духовная пища вечно голодной свинье явно пришлась по вкусу — ни клочка бумаги не нашел я потом в вылизанном корыте.

Теперь, глядя на корешки своих книг (сколько убито времени), я думаю: вот они, неиспользованные резервы для развития свиноводства!.. Видите, во мне даже юмор прорезался…

После обеда хуторские женщины тянулись к лавочке у нашего двора. Мачеха, на ходу дожевывая горбушку хлеба — так и не успела за хлопотами поесть, — хватала тяпку и тоже спешила к женщинам. Звено уходило в поле. Я стелил на крыльце, в тени, отцову шинель, в изголовье клал фуфайку и — о мои сладчайшие часы! — читал. Нет, я не читал, я жил в волшебном мире, пока не спадала жара и из хлева не выползала разморенная дневным сном, благодушная, но уже растревоженная своими колосковыми видениями Рохля. Она долго чесалась о крыльцо, а если я, зачитавшись, не проникался ее беспокойством, дергала за полу шинели. Не отрывая глаз от страницы, я поднимался и брел через двор как лунатик, распахивал калитку. Свинья подплывала ко мне, приостанавливалась, прогнув широкую спину. Я боком садился на спину Рохли, правой рукой хватался за жесткую щетину на ее загривке, держа перед собой в левой раскрытую книгу. Свинья, похрюкивая, словно интересуясь, о чем там пишется, трогалась с места. Дорогу она знала хорошо. Выбравшись со

двора, сворачивала в улочку, узкую, тенистую, сокрытую под шатром сплетенных ветвей, в гуще которых желтыми фонариками светились груши-спасовки, да то и дело вспыхивали солнечными лучиками иволги. Но я не замечал ни этого зеленого тоннеля, ни груш над головой, ни золотистых птичек; в эти минуты я вместе с героем книги врывался в опочивальню красавицы, снимал меч и, трагически нахмурив брови, вопрошал: "Молилась ли ты на ночь, Дездемона?"

А свинья тем временем уже брела мимо Общего двора, где росли одичавшие, неухоженные — ничьи — яблони, а в воронках от бомб все лето стояла вода. Но я был уже принцем Гамлетом, бродил по замку датских королей и мучился вопросом: "Быть или не быть?" Свинья, покачиваясь, плыла мимо Демьяновой риги, где жили совы, мимо силосных ям, густо обросших пасленом, его темными гроздьями я лакомился поздней осенью, но в это мгновение я не думал ни о совах, ни о паслене, я был Ромео, в склепе семьи Капулетти глотал яд и восклицал глухим предсмертным голосом: "Вот так я с поцелуем умираю!.."

Наконец я отрывался от книги, поднимал голову, и перед моими воспаленными от непрерывного чтения глазами, словно декорация к спектаклям по Шекспиру, возникало сельское кладбище: ничем не огороженный участок поля с зелеными волнами старых могил, кресты на которых подгнили и упали, а может, их спилили в войну, когда зимы были суровыми, а топить было нечем. Чуть дальше от дороги кресты еще кое-где виднелись, серые, в лишайниках, казалось, они сами растут из земли, стебли странных, неземных растений, выбеленных дождями, ветром и солнцем. Свинья привычно сворачивала на жнивье и направлялась к скирде. У скирды я соскальзывал с ее спины в солому, а Рохля шла к ложбинке, утыканной колосками. Я снова нырял в книгу, как в воду с открытыми глазами, — на долгие часы.

И только когда буквы уже сливались в темную полоску, я замечал, что день кончился и поле окутали сумерки. Я брал охапку соломы, шел от скирды к лощинке, поджигал солому и читал, наклонясь к огню, пока не подходила Рохля и деликатно, но настойчиво напоминала о себе. Я удивленно оглядывался вокруг. Вечернее небо уже брызгалось на землю звездным молоком. Кресты на кладбище вытягивались аж до хмурых туч на горизонте и щекотали сладким ужасом. Я скручивал плотный жгут соломы, зажигал его, садился верхом на свинью, и по освещенной соломенным факелом дороге мы медленно возвращались домой…

Глава-воспоминание

МОЯ ХАТА

Неужто это я стою на коленях на подоконнике в своих полотняных, крашенных бузиной штанах и прижимаюсь к заплаканному стеклу, как жмется подо льдом к отдушине рыба?!

Что общего между мной, Ярославом Петруней, известным, импозантным, перспективным и т. д., и этим зареванным мальцом с босыми, синими от холода ногами?

Ни-че-го!

А хата — что ж, хата моя, от нее я не отрекаюсь. Я вырос из своей хаты, как вырастает подсолнух из семечка: зернышко набухло, проросло, стебель поднялся к солнцу, а шелуха догнивает в земле.

Не переношу слюнтяйской болтовни про рай в хатах под стрехами.

Не было рая.

Вот он, тот мальчуган, из которого вырасту я, — в пустой холодной хате, распластанный на окне. Я словно примерз лицом к стеклу и боюсь оглянуться назад: из-под печи, из-под пола, где пищит голодный котенок, ползут сумерки, вестники ночи, их мохнатые лапищи касаются моих плеч, я реву ревмя. За окном светлее, но там морось, и пятна грязного снега на огороде, и серый двор, и корова по брюхо в грязи, грустная и будто тоже заплаканная, капли стекают по ее морде. А сумерки за моей спиной все гуще, они заполняют хату, и я задыхаюсь. Темнеет во дворе, ночь заглатывает скособоченный хлевец, огород в заплатах снега, корову, стожок сена, весь мир. Сердце мое уже не бьется, оно онемело от страха и одиночества; полумертвый, я соскальзываю с подоконника на лавку, зажмуриваю глаза, чтоб не было так страшно, и прыгаю на пол, под которым тоже черная пропасть, пристанище всех земных и небесных страшилищ, перебегаю хату, с пола — на лежанку (а страх уже хватает холодными лапами за плечи), с лежанки — на печь, и наконец ныряю под рядно.

Не могу вспоминать спокойно.

Иногда мне хочется тряхануть мир, как грушу, и вопросить его владыку, с детства спокойно взиравшего на меня с наших икон: за какие такие грехи мучил меня, господи?!

Какие грехи у ребенка?

Разве что платил за будущие грехи?

Теплая печь немного успокаивает. В закутке, возле рукавичек с семенами, знакомо скребется мышь, я радуюсь

этому звуку — все ж душа живая в хате. Но чем дальше к ночи, тем более чужой становится хата: кто-то страшный шлепает по полу, кто-то возится под полом, кто-то гремит горшками да чугунами, хоть я знаю — некому греметь, потому что мать на ферме, доит коров, а отец на лесозаготовках, приезжает домой лишь по субботам.

Не верю литературным басням про хаты, благоухающие целебными травами. В нашей хате пахло сыростью, гнилой картошкой, помойным ведром, запаренной в чугунах половой, курами, что зимовали под печью, мышами, портянками, которые сохли на лежанке, мокрой овчиной и — зимой — холодом. В стужу, когда изморозь висела на окнах белыми космами, мать стелила у печи солому и заносила в хату маленьких поросят, и телок жил в хате, если корова телилась зимой. В морозные зимы посреди хаты мастерили печурку из старого ведра, щели замазывали глиной, но и печурка, и длинные, под потолок, трубы дымили, гарь висела едким облаком, еще и отец непрерывно, дни и ночи курил самосад…

Не верьте сентиментальным сказочкам о рае в хатах. Их писали люди в таких вот, как мой, кабинетах, за письменными столами красного дерева. И я их сочинял, эти ностальгические поэмы о том, чего не было. А когда наведывался в Пакуль, заходил в хату, в которой вырос, — дивился, как это я мог жить здесь столько лет и не задохнуться, не застудиться, не заболеть чахоткой, не захиреть, как растение без воздуха, без солнца; дивился и бежал ночевать в город, в гостиничный люкс…

Но пока что мне до люкса дальше, чем от земли до неба. Пока что я жмусь к чуть теплой печке и мысленно зову маму, чтоб побыстрее возвращалась с фермы, зажгла каганец, накрошила в миску хлеба, побрызгала водой из ведра, сыпнула ложечку рыжего, базарного, сахара — и получатся ру́ли —

самое вкусное, что я помню с детства. Губы мои мечтательно растягиваются в предвкушении этого лакомства, я глотаю слюни, плотнее заворачиваюсь в рядно и — вот я уже взрослый, живу где-то, еще не знаю где, но не в Пакуле, потому что хлеба — сколько душе угодно, и сахару — хоть ложками, вот я крошу хлеба полную миску, да что там миску, полное корыто, чтоб до отвала, заливаю водичкой и — целый стакан сахара, а может, и два, а может, и десять, сажусь у корыта с половником и сижу так, пока половник не начнет чиркать по дну…

Мама приедет ко мне в гости, и я скажу ей: "Мама, садись к столу и ешь ру́ли, теперь нечего тебе, мама, хлебать пустую водичку, как когда-то, чтобы детям побольше хлебушка досталось, у меня завались и хлеба, и сахару…"

И мама наестся вволю.

Да вот жизнь ее оказалась короче, чем мои мечты…

Глава-воспоминание

МОЯ МАТЬ

Крест из вербы на могиле матери давно подгнил. Ходил я к пакульским бабкам, чтобы показали, где похоронена мать, никто не показал, помнят только, что недалеко от дороги. И фотографии не сохранилось, в те годы до фотографий ли было, а в памяти лицо матери постепенно стирало время. А мамины руки помню до сих пор. Было это в сорок третьем, летом. На лавочке у нашего двора сидели женщины. Я играл в песке посреди улицы. Вдруг на шоссе, за крайней сельской хатой, загудела машина. Женщины вскочили, кинулись по дворам, к зарослям бузины. Мать подбежала ко мне, подняла

на руки и тоже хотела убежать, но из-за соседнего сарая уже вынырнули немецкие мотоциклисты. За мотоциклами в село въехала открытая легковая машина. В машине, кроме шофера, сидели немецкий офицер и переводчица. Мать прижалась к вербе, словно надеялась врасти в нее вместе со мной. Офицер поманил мать пальцем в черной перчатке. Она прижала меня к груди обеими руками, будто хотела спрятать от всех, и медленно подошла к машине. Помню руки матери, прижимавшие меня к себе, помню тот плавный, как во сне, полет на ее руках над миром, полным опасностей…

— Партизаны? — спросил офицер, кивая головой в сторону села.

— Нету партизан.

— Гут, гут…

Офицер поднял черный палец, нацелился мне в лицо:

— Паф!

И засмеялся…

До сих пор у меня возникает суеверное чувство, будто мать следит за мной из какого-то иного мира, храня и защищая от напастей и бед.

Лишь от самого себя не смогла она меня защитить.

И еще воспоминание — из послевоенных голодных лет. Мы в хате — мать, отец и я. По огороду мимо окон идет нищий, их тогда много ходило по селам. Стучит в дверь. Крестится на киот, просит хлебца. Мать горько усмехается:

— Я бы, добрый человек, и сама хлебушка съела… Нету у нас хлеба…

Нищий просит воды, а мать достает с печи горшок с узваром, наливает ему в кружку. Нищий садится на лавку у окна, достает из торбы горбушку и смачно жует ее, запивая компотом. Мать отводит глаза от хлеба в руке нищего, отец хмуро сосет самокрутку, а я пожираю эту горбушку голодными глазами, следя за каждым движением нищего. Съев хлеб, тот крестится на угол, благодарит мать за угощение и уходит из хаты. Я залезаю на печь, где с лета припасены вишневые косточки, глушу голод горькими зернышками. И слышу голос матери, который не забуду, пока буду жив:

— Так бы хлебушка поела… Хотела сказать — дай ребенку хоть корочку, да не повернулся язык у нищего просить.

Потом была осень, моросило, я, голодный, слизывал с вишневых стволов наросты клея и жевал вместе с чешуйками коры…

С низкого хмурого неба стекали сумерки. На дороге показалась подвода, мать, закутанная, лежала на возу, отец шел рядом, в шинельке, подпоясанной веревкой, в солдатской шапке. Он вез мать из города, из больницы, белое неживое лицо матери — в каплях дождя или слез, когда мы с отцом вносили ее в сумрачную, нетопленую — в больницу они уезжали на рассвете — хату… — но хватит, не могу, не хочу, нет сил вспоминать.

Мои самые сладкие детские мечты — о еде. То вдруг мне пригрезится, что случайно открываю вход во всеми забытый погреб, а там — бочонки с золотистым засахаренным медом. То как наяву увижу целый воз с халвой. То вырастает перед моим

голодным взором гора булок или светящегося рафинада. Озера постного масла и берега из черного хлеба и картошки — вот что снилось мне в детстве, когда другим, более благополучным и сытым, снились алые паруса…

Но действительно — хватит. Нет сил.

Не хочу вспоминать.

То было в другой жизни.

То было не со мной.

С кем-то другим.

Глава триумфальная

МОЙ КАБИНЕТ

Я никого не виню.

Ни людей, ни время.

Но я завидую своему сыну.

Боже, да если бы я родился в такой семье, если бы получил такое образование, если бы мое детство прошло среди книг — кем бы я стал!

Не кем, а каким. Описка. Ошибка по невнимательности.

А если это у меня в крови — кем?

Предыдущую главу — о матери — вычеркну. Сентиментально, пессимистично, не типично. Все равно редактор выбросит. А вдруг не выбросит? Но он во мне — редактор. Садясь за письменный стол, я чувствую за спиной сиплое дыхание Бермута и смрад его сигары. Словно заглядывает через плечо в мою рукопись и подсказывает: это вычеркни, здесь оптимистичнее, а это го не пиши, не надо. И я пишу, чтобы ни у кого никаких сомнений, чтобы прямо в типографию. Потому что мое слово — прибыльное, больше слов — больше денег. А бензин подорожал. А Ксеня договорилась о новом гарнитуре, югославском, наш гарнитур уже не модный. А я хочу поменять мою отличную "Волгу" на еще более роскошную. А Ксеня хочет в зарубежную поездку. А подруга Ксени, жена композитора Н., купила перстень с бриллиантом. Ксеня считает: мы должны показать, что не беднее других. А сын хочет только американские джинсы, у других японские приемники и вертушки, он, что ли, хуже? После каждой новой книги думаю: все, остановлюсь, передохну, огляжусь малость, буду жить и писать иначе, чтобы мыслям и чувствам было просторно, а не словам. Но выходит — то да се, непредвиденные расходы, ненасытные фантазии Ксени, мои аппетиты, моя привычка — уже привычка! — всегда иметь в кармане деньги и тратить их, не очень-то считая, — и все сначала.

И — спешка в работе, и — облегченный вариант, и — литературный вал, и — дыхание Бермута за спиной.

А чего вы хотите от человека, который впервые поел досыта в шестнадцать лет?!

Любил порисоваться в кругу знакомых: я впервые наелся в шестнадцать лет, когда получил первую зарплату. Зашел в тереховскую столовку и наелся. Любил порисоваться, пока верил, что я — писатель. Теперь уже знаю: не писатель, нет.

Работаю писателем, зарабатываю на хлеб, производя слова. Теперь уже знаю: время легко сотрет мои увесистые, но пустые тома и никто не вспомнит Ярослава Петруню уже в следующем поколении. В литературе останутся имена других — кто не заботился об объеме, количестве напечатанных книг, о гонорарах и престижных автомашинах. Тех, кто говорил с читателями, а не с кассирами издательств. В иные минуты я ненавижу их — принципиальных и упрямых. Мне недостает характера. Господи, так почему же ты, создав меня малодушным, не сделал близорукими мои глаза и коротким умишко, чтобы видел я не далее собственного носа, чтоб до смертного часа считал себя тем, кем мечтал стать на клинышке пакульского поля?

Получив первую свою зарплату в Тереховке, я поспешил в райцентровскую чайную, заказал обед из пяти блюд и самое дорогое вино. После обеда купил с десяток пирожных и весь вечер пировал в пустой редакции, запивая пирожные теплой водой из графина с редакторского стола. Я мог объесться и умереть — почему я не умер на этой вершине своей жизни, ведь потом все это лишь повторялось: я насыщался, голодал и снова насыщался, и машины, и дача, и гарнитуры, и хрустальные люстры — все это тереховские пирожные с кремом, самоповторы, графомания, растянутая во времени…

Но я обещал — про кабинет.

Я горжусь своим кабинетом. До недавнего времени у меня была обыкновенная квартира в писательском доме. Эту, в которой живу теперь, нашла Ксеня. Через знакомых. Сколько порогов я оббил, пока разрешили обмен! Конечно, обменивался с доплатой, но об этом знаем лишь я, Ксеня и профессорша, оставшаяся после смерти мужа одна в четырех роскошных комнатах. Стало быть, Ярослав Петруня создает свои романы в профессорском кабинете. Пять на шесть, тридцать квадратных

метров. Одна стена — полукругом, с тремя окнами, за окнами — небо и ширь площади Богдана Хмельницкого: за верхушками деревьев светятся маковки соборов. Сидя за пишущей машинкой, я словно плыву над человеческим муравейником навстречу вечной Софии. Иногда, шаркая в меховых японских шлепанцах по начищенному до блеска паркету, вижу в его зеркале пол родительской хаты, выщербленный, с подпалинами от печки-буржуйки, заплеванный подсолнечной шелухой, а у печи — грязный и всегда мокрый: мачеха готовила здесь пойло для коровы и толкла свинье картошку с мякиной. Чтобы прогнать видение, я зажигаю свет, и на паркете отражается люстра, которую Ксеня купила в комиссионке, люстра стоит дороже, чем вся родительская усадьба с хатой, хлевом и садом. Возле тахты, застланной ирландским пледом, — на ней я отдыхаю от трудов творческих — мягкий восточный ковер, он приятно, словно теплое мелководье, щекочет ноги. Японский магнитофон, стереорадиола, транзисторный телевизор — только для меня. В гостиной цветной телевизор для всей семьи. Вдоль стен кабинета — стеллажи с книгами. Сияют стекло, полированная древесина, корешки книг, разные там фарфоровые безделушки. Женщина, приходящая к нам трижды в неделю, наводит идеальный порядок. Книги на стеллажах, как теперь говорят, дефицитные, кроме, конечно, написанных мною, они — на отдельной полке, по пять экземпляров каждого издания, знакомым я жалуюсь, что не могу купить собственную книжку, все вежливо соглашаются (хотя знают, что ими завалены все книжные магазины, и киевские, и периферийные) и понимающе кивают головами: расхватывает народ, расхватывает…

Будьте взаимно вежливы.

К сожалению, ко всему привыкаешь, и даже к своему тридцатиметровому кабинету.

Теперь мне нужен зритель, чтобы его глазами взглянуть на собственные жизненные достижения. Свидетель успеха — вот кто мне необходим. Чтобы он помнил меня мальчишкой в полотняных штанах, верхом на свинье — и видел, кем я стал теперь. И когда я встретил на Крещатике Василя Самуту (настоящего, не выдуманного — это его фамилией я наделил следователя в своем еще не написанном приключенческом романе), бросился к нему как к родному. Последний раз виделись мы лет двенадцать назад. Тогда тоже случайно встретились в центре Киева. Я — начинающий, неуверенный в себе писатель. Он — недавний выпускник института, но уже сотрудник министерства, женился, жаловался на безденежье: снимает комнатушку, строит кооперативную квартиру, родители, правда, помогают, но — трудно. Мы выпили по стакану сухого вина и разбежались. За двенадцать лет мало что изменилось в жизни Самуты. Ну, построил наконец кооперативную квартиру и поднялся на несколько ступенек по служебной лестнице, но все равно — обыкновенный чиновник. Детей стало трое, а зарплата не очень выросла. Все это читалось на его буднично-постном лице.

Я уверенно взял Самуту под руку и повел к своей машине. Заканчивался обеденный перерыв, и он отнекивался — в министерстве с дисциплиной строго, надо сидеть от звонка до звонка. Я небрежно кивнул: "Позвоню твоему министру, отпустит тебя на месяц, не то что на час". "Лишь бы не навсегда", — буркнул Самута, но перестал упираться, наверно, и вправду поверил, что мне ничего не стоит звякнуть министру.

И вот мы в лифте, уже входим в прихожую, где на стенах модерновые пейзажи модного когда-то киевского художника, который, перестав быть модным, перекочевал сюда из гостиной, уступив место более удачливому коллеге, моя Ксеня в этих делах разбирается отлично. Надеваем тапочки, и вот мы

уже в средоточии благосостояния и изысканности — в моем кабинете. Самута ошарашенно останавливается, едва переступив порог: дворец, храм. Я включаю люстру, мол, хороша штука, и хмыкаю, вспомнив, как на выпускном вечере после седьмого класса хотелось мне иметь такую же, как у Самуты, черную, с блестящей молнией — вельветовую куртку и как жгла меня зависть к Самуте, единственному сыну колхозного кладовщика, когда я ежедневно топал пешком в Шептаки, в среднюю школу, по семь километров, а Самута обгонял меня на быстром, как птица, велосипеде… Вельветовую куртку я купил уже в Тереховке, со второй или третьей зарплаты, а велосипед так и не купил, потому что в те годы многое надо было покупать, от носков до пальто и шапки, я менял кожу, я вылезал из фуфайки.

Едва мой кабинет карнавально замерцал в широко распахнутых глазах потрясенного Самуты (так мне, по крайней мере, виделось), как раздался звонок в дверь.

— Ярослав Дмитриевич дома? — пророкотал мужской голос.

На пороге, бодро улыбаясь, появился Перевяз. Знакомство мы свели года три назад, вместе летали на Кубу, а в минувшем году неожиданно встретились во Флоренции и подружились. Чему-чему, а поддерживать полезные связи я научился: любой должностной человек рано или поздно на что-нибудь сгодится. Перевяз принес фотоснимки, которые нащелкал во Флоренции. Я достал из бара-холодильника бутылку настоящего "Чинзано". Смакуя вино, мы с Перевязом предались воспоминаниям, тасовали фамилии известных людей, как козырные карты. Флоренция, Рим, Ватикан — слетали с наших уст так же привычно, как Оболонь, Дарница и Левый берег с уст жителя киевских микрорайонов. Краем глаза я следил за Самутой. Он невозмутимо внимал нашей деликатесной болтовне, явно по-

дилетантски глотал итальянское вино и вовсю дымил американской сигаретой, которой его угостил Перевяз. Я сидел сбоку в кресле-качалке и видел, как Самута под столом закрывает правой ногой дырку на левом носке. Наши гости обязательно переобувались в домашние тапочки. Ксеня строго следила за этим. Самута заметил мой взгляд и покраснел.

Вскоре они оба ушли. Самута поспешил на работу. Перевяза ждали в высоком учреждении. Впрочем, его всегда где-то ждали — он любил это подчеркнуть. В прихожей я вежливо подал Перевязу канадскую дубленку, а Самуте — его потертое осеннее пальтецо и кроличью шапку. Перевяз предложил подбросить Самуту к министерству. Тот отказался, привык, мол, на троллейбусе… Тоже мне — принцип интеллигента-голодранца.

Визитную карточку мою Самута взял, обещал позвонить, но до сих пор не звонил, хоть прошел уже год. Наверное, и не позвонит.

Но ведь и я не буду звонить первым.

Кто он такой?..

Глава остросюжетная

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН

Я следователь. Волей талантливого, известного, энергичного, темпераментного, прогрессивного, перспективного и т. д. Ярослава Петруни. Что ж, мне эта роль нравится. Отдаю должное прозорливости автора романа — он разглядел во мне то, что надежно спрятано от посторонних глаз за невзрачной фигурой служащего. Простого человека.

Маленького человека. Грешен, люблю приключенческие романы. Правдами и неправдами подписываюсь на все приключенческие серии. С тех пор как я в Киеве, ни один детектив не упустил, все в моей библиотеке. Каждая книжка обернута в прозрачную пленку, тома выстроены на книжных полках, как экспонаты в музее. Я не терплю зачитанных, заеложенных детективов. Книги-однолюбы. Я прочел их как прожил, а разве жизнь индивидуума тиражируется?

Ну так вот, я — следователь. Начальство мое предупреждено. Я завтракаю, как завтракают все детективы, наскоро: ломтик колбасы, яйцо всмятку, растворимый кофе. Кладу в "дипломат" фотоаппарат и портативный магнитофон. Уже на лестнице вспомнил, что забыл гостинцы для стариков, ведь буду в Пакуле. Родители доживают век на окраине села над речушкой, что давно пересохла и лишь ранней весной, когда с полей бежит талая вода, бурлит, словно молодая. Понимаю, что этот всплеск сентиментализма не соответствует строгим канонам приключенческого жанра, но детские воспоминания, "щира украинская душа" и тому подобное — читатель мне простит. Возвращаюсь, для матери беру шоколадный набор, для отца — блок югославских сигарет, в виде тоненьких сигар, привез из заграничной командировки. Следователь, конечно, обязан ездить в заграничные командировки. И вот я уже в машине, уже выезжаю из Киева. Конечно, на "Волге". Служебной. Настоящий следователь должен иметь служебную "Волгу".

Хорошо, что в приключенческом романе не обязателен пейзаж. Если пейзажи и встречаются (преимущественно в детективах провинциальных авторов), я нетерпеливо листаю странички. Факты и действия. Действия и факты. Острый сюжет. Развитие фабулы. И, пожалуйста, как можно поменьше психологии. А в чьей душе копаться? Моя скромная особа мало интересует читателя. Да и нет в этой книге меня, настоящего.

Есть следователь Василь Самута. Вынужден вживаться в новый образ. Меня, настоящего, Петруня недооценивает. За десяток лет, что мы не виделись, я кое-чего достиг в жизни. Преодолел несколько ступенек служебной лестницы. Выстроил четырехкомнатный кооператив, купил дачку в Русановских садах. Конечно, помогли родители — и мои, и жены. Судьба старается не обделить никого: одному талант, другому — состоятельных родителей. У каждого — своя стартовая площадка. И если во время нашей последней встречи я был в рваных носках, так это ни о чем не говорит, кроме того, что я уже несколько лет коплю на автомашину. Вот-вот подойдет очередь. Экономлю на всем, даже на носках. А что? Мне ведь не платят гонорары, как Петруне. Фундамент благополучия я кладу не спеша, зато — надежно. Я расту естественно, как дерево. А жизнь Петруни — фейерверк, сегодня — все, завтра — ничего, прах. Тише едешь — дальше будешь. Была когда-то такая игра. Детская. Ярослав тоже играл в нее. Но забыл. Я за ним все время слежу, даром что Петруня меня, мелкой букашки, не замечает. Конечно же обо мне в газетах не пишут, и в телевизоре лицо Василя Самуты не мелькает. Высоко взлетел Ярослав на крыльях своего таланта, однако поживем — увидим. Высоко летать — больно падать. Моего у меня никто не отнимет. Жизнь — это бег на длинную дистанцию, а не стометровка. Часто тот, кто блестяще стартует, к финишу приходит в полном изнеможении. Но — хватит болтать, меня, собственно, нет, есть следователь Василь Самута.

Волею талантливого, известного и т. д. Ярослава Петруни.

И вот уже я, следователь Василь Самута, подъезжаю к Пакулю. Справа от дороги — луга, торфяное болото, под лесом едва пробивается поросшая аиром речушка, название которой давно забылось, и все зовут ее Родником. Мы с Ярославом пересекали ее вброд мальчишками, когда ходили по грибы, вода была холодная, ноги сводило, а дно — вязкое. В

радиоинтервью по поводу Дня защиты природы Петруня вещал: "Мне в Киеве недостает наших полесских дебрей и заросшей аиром речки..." "Недостает, так пусть возвращается в свои полесские дебри..." — сказал я жене. Верно, я немного завидую. Но — не будем обо мне. Это зона запретная. Я — следователь.

Итак, место действия — Пакуль. Как пишут в пьесах. На театральной афише, извещающей о премьере спектакля но пьесе Ярослава Петруни "Земные радости" во Мрине, написано: "Действие происходит в современном селе". Декорации. Правую сторону сцены я уже описал. Слева — никаких пейзажей, лишь поля, изрезанные оврагами, а меж ними проселок, до самого хуторка, где родился и вырос наш прославленный пакулец, широко известный во всем мире и за его пределами прозаик, публицист, драматург Ярослав Петруня. Снова ненужная ирония. Я свернул на проселок. Вот и кладбище. Кресты, как телеантенны. Может, там, под землей, тоже круглосуточно работают телевизоры?! Возле кладбища — антрацитовая "Волга" Ярослава Петруни. Знакомые номера. Попробовал бы я такие номера добыть. Если б и была машина. Петруня — умеет. А где не сумеет он, там поможет Ксеня. У дьявола из зубов вырвет. Не забывайся, Самута, ты — следователь, только следователь. На заднем сиденье — свежий номер журнала "Америка". Сиденья покрыты белым мехом. На переднем стекле резиновая куколка в бикини — амулет. Баранка — в замшевом чехле. Небрежно брошенная пачка американских сигарет, импортная зажигалка. Всем своим видом машина словно подчеркивает: мой владелец — не такой, как все, он — избранный, он — исключение.

На обочине — участковый милиционер. Его уже предупредили о моем приезде. Научно-техническая революция. Я обошел "Волгу". Дверцы закрыты, но не на замки. Ключи — в гнезде зажигания. В салоне — запах

французских духов, которые Ярослав подарил Маргарите. В гостинице. Видел собственными глазами. Петруня искал в кармане сигареты и словно нечаянно вынул коробочку с золотым тиснением. "А это — вам, Маргарита, сувенирчик!" Маргарита вскочила с кресла и поцеловала Петруню. В губы. Конечно, за такие духи можно целовать. Даже Петруню…

Однако это уже с моей стороны — ревность. Завистливая ревность.

Я захлопнул дверцы и приказал участковому не отходить от машины, пока не приедут из уголовного розыска. Я — что-то вроде частного детектива. Таким меня задумал Петруня. Я — наблюдательный, я — мудрый. Но даже для меня исчезновение Ярослава — пока тайна. Разве что найдут тело. А тело никогда не найдут. Я понял это еще с первых страниц романа. Интуиция опытного потребителя детективов. Впервые Ярослав не только придумал сюжет романа, но и сам прожил его. Роман-жизнь. Роман-предвидение. Роман-следствие.

Вокруг "Волги" Петруни было множество следов, утром прошел трактор, подъезжал "газик" председателя колхоза. Но тренированным глазом (детектив!) я отметил узорчатый след финских ботинок Ярослава. Вот он вышел из машины, обогнул ее и пересек дорогу к кладбищу, где похоронены мать и отец. И снова цепочка знакомых следов, теперь уже в поле. Обратно, с поля, следов нет, будто Петруня испарился. А может, все же трактор стер гусеницами его следы. На клинышке через дорогу от кладбища — золотой ежик жнивья. Скирда соломы высилась в глубине поля, ближе к оврагу, который мы в детстве называли Ближним. Места нашего с Ярославом детства. Снова, как много лет назад, когда мы были пастушками, в ложбине надо рвом паслась белая, словно кто-то тщательно отмывал, свинья. У скирды — мальчуган с книгой на коленях. Я медленно направился к нему, словно

возвращался в детство. Сколько лет уже я не ходил по жнивью — жнивье с хрустом стелилось под подошвы. Дорога, бессонная ночь, утренние волнения утомили меня, голова слегка кружилась, и казалось, что не я иду к скирде, а скирда легонько, словно марево, покачиваясь, плывет навстречу. Из далекого прошлого.

Я приблизился к скирде. Мальчик не отрывал глаз от книги. Он был в кедах, хэбэшных брючатах и ситцевой, вылинявшей на солнце рубахе. Мы в свое время ходили босиком или же в постолках и донашивали отцовы штаны и материны кофты. Но что-то в нем было и от нас. На худенькой спине, под рубашкой, так же торчали острые, словно обрубки крыльев, лопатки. В светлых волосах солнечными лучиками золотились соломинки. И такая же, как у маленького Ярослава, сосредоточенность в лице. Тот так же, когда зачитывался, забывал, где он, кто он: свинью перехватывал объездчик либо она возвращалась в село одна и рыла огороды, мы бросали ему за ворот лягушек и ящериц, однажды подожгли стерню, он читал, пока огонь не подобрался к книжке.

— Приветствую вас, будущий гений… — произнес я не без иронии: в каждом мальчишке с книгой на коленях виделся мне сегодня Ярослав Петруня. Маленький книгочей наконец оторвался от своего тома, поднял голову, но его затуманенный взгляд скользнул по мне, не видя. Он был весь в мире грез. Мечтательная улыбка светилась на загорелом лице мальчишки. Он опустил голову, и глаза его побежали по строчкам. Он не принял моей иронии, не заметил насмешки. Витал в облаках. Это потом, уже взрослым, научится он жить земными радостями, как и герои его пьесы. "Метаморфозы". Превращения. Впрочем, это, кажется, одно и то же. В цифрах я ориентируюсь лучше. Никогда ни за чем иностранным не гонялся, ни за словами, ни за джинсами. Принципиально

одеваюсь во все отечественное. Такой я. Положительный. И всю жизнь был таким. Никаких метаморфоз.

А Ярославу Петруне — чего ему не хватало?!

Я повернулся и пошел прочь. Я был здесь лишним. И со своими ребятами, хоть и держу их в строгости, не всегда нахожу общий язык, где уж с чужими. Племя молодое, незнакомое… А что, может, мне первому набиваться на знакомство? Не дождется. Мы свое, почитай, прожили, лучшие годы, пусть они так попробуют — тихо, мирно, сыто. Известно, на все готовенькое приходят. Базу мы для них, считай, построили, стартовую площадку — из наших, родительских, спин, а они теперь на наших спинах — свои "брейки" крутить будут. Я тоскливо оглянулся. Синее небо, золотое жнивье — природа. А я — не то чтоб старый, но вроде древний, душа словно мхом поросла. Пусть живут и плодятся, может, они будут умнее нас, может, у нас все будет иначе. Извечная иллюзия человечества — вера в детей. Будто дети — не от нашего корня, с других планет прилетают. Пусть только где-то когда-то вспомнят, что до них был я — ходил по этому жнивью, любовался этим небом, питал кучу розовых иллюзий. Которые потом развеял ветер времени. Мальчик с книгой на коленях не по-детски сосредоточенно глядел мне вслед. Что-то очень знакомое было в этих карих, лукавых, мудрых и одновременно грустных глазах, словно знали они такое, чего я никогда не буду знать.

Глаза Ярослава Петруни, когда он, стоя на сцене областного театра, после спектакля, выслушивал дифирамбы в свой адрес.

Я вышел на дорогу, сел в машину и поехал в село.

Глава литературоведческая

ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА

Я настоящий писатель — мой сын ходит в школу в американских джинсах.

Я талантливый писатель — у жены есть каракулевая шуба, кожаное пальто, на подходе канадская дубленка.

Я большой писатель — на собственную дачу езжу на собственной "Волге". Афоризм Ивана Ивановича Бермута: большая машина — большой писатель. Смеялся, когда впервые услышал, а запомнилось. Теперь не смеюсь.

Да когда же это все началось, люди добрые?!

Наверное, с переездом в город. Потому что в селе, рассылая в редакции стишки и получая стандартные отказы, я даже и не помышлял о гонорарах. Даже слова такого не знал. Впервые услышал его от дяди, у которого квартировал, когда учился в девятом и десятом классах. Десятилетки в Пакуле не было, надо было ходить за восемь километров, дядя с тетей сжалились, пустили к себе. Дядя работал в сберкассе. Как-то позвонили ему из редакции, расспросили о вкладах трудящихся и от его имени поместили в газете заметочку о росте благосостояния сельских тружеников. К славе дядя отнесся спокойно, но, когда пришел из редакции перевод на приличную, как мне тогда показалось, сумму, — совсем рехнулся. Подсчитал: чтобы купить "Победу", надо написать и напечатать тридцать две тысячи слов. Если даже писать всего по странице в день, за девять месяцев — машина! В тот же вечер дядя набросал темы для своих будущих статей, ориентируясь на отделы редакции, названные в конце

четвертой страницы с адресами и телефонами: "Партийная жизнь", "Промышленность и транспорт", "Сельское хозяйство", "Культура и быт", "Советское строительство".

Перебрал бумажный хлам в ящиках стола и нашел рукопись своей ранней повести, из-за которой когда-то конфликтовал с Бермутом. Молодым был, хотел удивить мир. "Страницы веселой автобиографии" — такой был подзаголовок у повести. Бермут, тогда он заведовал в издательстве прозой, просмотрев рукопись, вылил на меня ушат холодной воды: "Рано тебе еще писать автобиографии..." И еще запомнилось: "Пиши как все, и будет тебе, Ярослав, зеленая улица..." Тогда я забрал рукопись и через месяц принес другую. Работал каторжно. День и ночь. Это я умею. Машинка трещала как пулемет. Допечатав последнюю страницу, вышел из комнаты и опустился на порог. В голове помутилось. От истощения. Когда меня захватывает азарт, не жалею себя. Особенно если знаю, что это легко пройдет через редактора издательства, что за это заплатят. Будто не слова печатаю, а денежные купюры. Новая повесть была "как у всех". Бермут похвалил и дал зеленую улицу. А накануне речь шла о том, что книжку выбросят из плана. А мы с Ксеней как раз квартиру получили, еще ту — первую. Ксеня входила во вкус столичной жизни: чтоб все было как у людей... И Орест подрастал — шубка польская, костюмчик немецкий. Чтоб не стыдно показаться на людях. Люди — не те, что вокруг нас, а те, к которым мы тянулись, как побеги к солнцу. Я, правда, тогда еще работал в редакции, зарплаты моей Ксене хватало на неделю. А тут еще Бермут: "С твоим талантом, Ярослав, ты мог бы ого-го-го на какой высоте быть, я тебе, Ярослав, добра желаю, ограждаю от кружного пути, на верную дорогу вывожу".

Теперь пробегаю глазами страницы забытой рукописи — словно не я писал. Коряво, по-молодому наивно, но — искренне, с моей грустной иронией. И никаких кружных путей.

Плохая ли, хорошая, но моя проза. Я тот самый, которого собственноручно и убил в зародыше. Еще одно нерожденное мое дитя. Еще один грех на душу. Может, самый большой. Детей, от которых избавлялась Ксеня (когда пожить, как не теперь?), ложась на три дня в больницу, уже никто не родит. И уничтоженного мною в собственной душе тоже не будет. И не надо винить Бермута. Можно было отстоять повесть. Добиться своего. Напечатали бы — не сразу, так позже. Через год, ну через два. Когда Бермута попросили из издательства. Другие, более упрямые, честные, печатались и печатаются.

Потрясение — смерть отца. Стресс — говорят нынче. Шел за гробом и клялся никогда не браться за перо. Мне позвонили, что отец умирает, он давно болел. Я примчался через несколько часов, на такси, мои "Жигули" были в ремонте. Впрочем, какое это имеет значение. Хотя нет, имеет. Когда я приехал, отцу стало легче. Была зима. Родственники толпились в хате, сидели на лежанке, на печи — из других сел. Ждали смерти. Во дворе уже обсмаливали кабанчика. Была зима, деться некуда, хата тесная. Я нашел в "дипломате" журнал со своим новым рассказом, сел у постели отца. Отец дремал. Внезапно открыл глаза: "Может, что новое написал?" Я ничего лучшего не придумал, чем прочитать вслух собственный рассказ. Возле умирающего отца. Родственникам. Соседям. И вот я начал. Боже, как я ненавижу их с тех пор — мои кудрявые слова!.. Словесная патока. Словесный понос. Слова, слова, слова!.. Перед этим я читал рассказ в кругу друзей в своей гостиной, меня даже хвалили, лакомясь бразильским кофе. Но здесь, у постели умирающего, у порога великого таинства смерти — оголилась вдруг вся искусственность, фальшь написанного. Это были слова для бумаги, не для людей. Я бренчал словами, я играл в слова, я маскировался благозвучными словами. За ними — пустота. А может, так оно и есть и маскироваться не было нужды. Может, я не жил. Делал вид, что живу. Словно имел в запасе

множество жизней. Эту жизнь проживу весело, вприпрыжку, для тела, а уж другую — для души.

Я прочел абзаца три. И умолк. И никто не просил меня продолжать. Родственники и соседи молчали. И отец молчал. Я вышел из хаты. В саду за погребом курил сигареты, одну за другой, и плакал. После похорон отца я действительно какое-то время не писал. Но вскоре выпал счастливый случай поменять мои "Жигули" на "Волгу". "Ну какой дурак откажется от новой "Волги"?" — спросила меня Ксеня, и я не нашелся что ответить. Потому что в глубине души тоже так считал. На новой "Волге" я уехал на дачу и пригвоздил себя к письменному столу… Очень не хотелось писать в ту зиму. После смерти отца и моей клятвы. Слова какие-то мертвые лезли из-под пишущей машинки. Ненавидел слова, стук машинки, запах бумаги. Но — переломил себя. Взнуздать себя я умею, когда нужно. Этот опус добью, утешал себя, ради новой "Волги", тогда уж начну настоящее. В начале лета сдал роман в издательство, подписал договор и почувствовал, что переутомился. Поехал с Ксеней и Орестом на море, на два месяца. И все устроилось, улеглось, пошло по-старому, словно и не было потрясения, клятвы у гроба отца.

А что отец?! Отец выдал мне индульгенцию. Благословил меня. Подтолкнул в спину. Дескать, иди спокойно и не оглядывайся. Ты — на коне. Только вышла из печати моя первая книга, я приехал в село, подарил свое "произведение" отцу. Старик повертел книгу в руках, полюбовался моим портретом на обложке и сказал:

— А верно ли люди говорят, что писатели большие деньги зарабатывают? Вроде бы и школы на собственные деньги для детей строят. А нам бы с матерью крышу над головой да хлевец такой-сякой слепить…

— Так то ж заслуженные писатели, лауреаты! — заволновался я, потому что от первых моих гонораров почти ничего не осталось. — А молодые, которые только начинают, — какие там деньги! Конечно, встречаются и молодые, которые пишут, не задумываясь, о чем и как, лишь бы быстрее и больше напечатать. Так ведь в любом деле есть такие: меньше отдать, а больше взять.

— Делай, как знаешь, сынок, но своим не поступайся. Мне всю жизнь копейка тяжело доставалась, пусть хоть тебе — легче, — перебил меня отец. — И еще скажу: нам с матерью стыдно, что сын — писатель, живет в столице, по радио о нем говорят, а хата у нас протекает и сараюшки нет, чтоб поросят держать…

Не поступаюсь своим, отец, не поступаюсь, еще и чужое прихвачу, слышишь ты меня там, под землей?!

Глава эмоциональная

КРИК

…Вы, кто славите меня денно и нощно за общим застольем, а за глаза называете мою пишущую машинку станком-автоматом для штамповки денег, вы, кто смеется над моей неистовой работоспособностью, над легкостью моего слова, над метражом моих романов, вы-то давились тошнотно-сладким хлебом из отрубей цветков акации? Вы собирали веснами на полях прошлогоднюю гнилую картошку, заливали ее в чугунке водой, ожидая, пока всплывут черви, а затем сушили на плите, дробили и пекли на сухой сковородке блинчики, от которых на всю улицу разило гнилью — преследует ли вас и поныне дух деликатесов вашего детства?!

А доводилось ли вам радоваться куску жмыха, как древние евреи радовались в пустыне манне небесной?!

Не обманывайте себя, что все это в далеком послевоенном прошлом, занесено песком забвения. Страх голода — в каждой клеточке моего тела, в каждом атоме, в электронах, нейтронах и протонах, в моей душе, в моем сознании — неистребим, как клеймо раба. Кто голодал в детстве, будет голодать всю жизнь, до самой смерти, даже сидя за столом, уставленным наиизысканнейшими блюдами. Не верьте, что это я, сорокалетний, еду в свой Пакуль на собственной "Волге", багажник которой ломится от гостинцев пакульским родственникам и соседям. Я стою в бесконечно длинной очереди у хлебного магазина в городе, стою от рассвета до полудня, я так голоден, что темнеет в глазах от запаха хлеба, который несут счастливчики мимо очереди от раздаточного окна на торце продмага, я хочу пить, все слиплось и омертвело во рту, но сбегать к водонапорной колонке боюсь: очередь не знает жалости, не признает за своего, и ничем не докажешь. Я уже не дышу, река человеческих тел дышит за меня, наконец река прибивает меня к желанному окошечку, я не в состоянии раскрыть кулачок с зажатыми в нем деньгами, продавщица сама разгибает мои пальцы. И вот, прижав к груди два кирпичика хлеба, один черный, другой белый, я выныриваю из бурлящей у окошка толпы. Затем бреду безнадежно длинной, изнуряюще длинной дорогой домой, в село. Май, а может, — июнь; наверно, пахнут полевые травы и цветы, а я слышу лишь один запах — хлеба в узелке. Не выдерживаю пытки голодом, отщипываю от белой, с поджаристой, медового цвета корочкой буханки маленькую крошечку, благоговейно кладу ее в рот, не жую, а сосу, как конфетку, но она тает во рту быстрее леденца. Я разрешаю себе отщипывать по крошке через каждую тысячу шагов, но голод терзает, полосует ножами мое тело, и я отщипываю по крошке через пятьсот, затем — через сто шагов… А цветы, верно, пахнут, а жаворонки заливаются,

гудят шмели в клевере, солнышко скатывается по голубому небосводу к горизонту — все точно так, как пишется в книгах. Только я этого не вижу и не слышу. Я вижу только хлеб и слышу лишь его запах. Пока я доплетаюсь до дома, четверти буханки как не бывало. Дрожащими руками, предчувствуя гнев мачехи, кладу я узелок на скамью, мачеха развязывает платок, видит общипанную буханку, клянет меня на чем свет стоит, а когда я выскакиваю из хаты, гонится с коромыслом по огороду…

Слышите — это я до сих пор плачу горькими детскими слезами в бурьяне на краю города, под сумеречным небом!

Вы, кто за глаза издевается над моей беспринципностью, моим бесстыдным жонглированием святыми словами, вы были когда-нибудь шутом на сцене за пару пирожков с повидлом и стакан кофе с молоком?

Я чувствовал себя лишним в небольшом домишке тетки на окраине Мрина. И в Пакуле мачехе с отцом лишний рот был ни к чему. Тетка отправляла меня на каникулы в село, а отец просил пересидеть каникулы в городе. Я оставался у тетки, но спозаранку уходил из дому, болтался по улицам, пока не открывали Дворец пионеров. Во Дворце я надевал казенную вышитую рубашку и красные сатиновые шаровары, в левую руку брал кусок фанеры с нарисованным на нем пшеничным снопом, а в правую — картонный серп, в то время как зал наполнялся зрителями, я замирал в углу сцены, изображая щедрый Урожай. В животе у меня урчало от сырой из-под крана воды, которую я хлестал, чтобы подавить голод, и что было силы надувал щеки и тянул кверху курносый нос, потому что строгий режиссер требовал, чтобы Урожай из зала выглядел веселым и сытым. Когда раздвигался занавес, я декламировал высоким голосом четыре строчки высоких слов и целый час, пока Снегурочка наконец доаукивалась до Деда

Мороза, торчал столбом среди праздничных огней и ярких декораций. А мысленно весь был в буфете. Наконец представление оканчивалось. Я соскакивал со своего постамента, несся в буфет. После представления, а их было по три на день во время школьных каникул, самодеятельным актерам полагалось два пирожка и стакан кофе с молоком…

Но перед кем я оправдываюсь?!

Перед самим собой?

А может — перед Ним. Вдруг Он действительно есть. И на смертном моем часе раскроет Книгу Судеб, найдет мою фамилию, проведет пальцем по соответствующей графе и поднимет на меня свои суровые иконные глаза: "Где талант, Ярослав, которым я наделил тебя при рождении твоем? Растранжирил по мелочам, разменял на медяки, теперь отвечай перед судом праведным, неразумный человече…"

Что я ему скажу?!

Глава биографическая

ОРЕОЛ

Мне двадцать три, я автор книжки рассказов, повести о нефтеразведчиках и сценария документального фильма о лесорубах. Будущее представляется ярким, как съемочная площадка в свете фонарей; творить, печататься, купаться в славе. Документальный фильм по моему сценарию снимается в Карпатах, на берегах высокогорного озера. Меня приглашают на съемки. Под смереками — карпатскими елями — средь бела дня сияют юпитеры, стрекочут кинокамеры, участница художественной самодеятельности из горного местечка, в

расшитом цветами кептарике, с бумажным эдельвейсом в волосах, поет. Грациозна, как… Как что? Нет сравнений. Красавица. Выросла в Карпатах. Чудо природы и воспитания. Умница. Чувствует тончайшие движения моей души. Целомудренна до смешного. Ненавидит мещанство. Передовая, прогрессивная, перспективная. Зовут ее Ксеня. Гуцулка Ксеня. Цветок Карпат. Талантливая дочь талантливого народа. Ночью мы плаваем на лодке по озеру, Ксеня поет. Я уже влюблен, я предлагаю руку и сердце. Я, кто еще вчера собирался прожить жизнь холостяком, посвятив себя литературе. Я рассказываю о своих творческих и жизненных победах: киевская прописка, комната в общей квартире, повесть о нефтеразведчиках — в издательстве и журнале, перспективы же — безбрежны. Наутро мы подаем заявление в местный загс. Директор картины договаривается в загсе, и нас расписывают немедленно. На пороге загса я очень серьезно спрашиваю Ксеню:

— Ты выходишь замуж за меня или за писательский ореол?

Ксеня влюбленно улыбается.

Конечно, за меня.

Я напоминаю танцора, который оттанцевал свое и в сорок лет — уже пенсионер. Или спортсмена, еще сравнительно молодого человека, живущего своим прошлым, листающего подшивки старых газет. Вершины славы я достиг еще двадцать пять лет назад, четверть столетия, когда пятнадцатилетним пареньком принес в редакцию районной газеты тетрадь, исписанную рифмованными объяснениями в любви к Олесе.

Работник, в обязанности которого входило читать стихи начинающих, полистал тетрадку:

— Напиши, парень, в послезавтрашний номер стихотворение о празднике — напечатаем на первой полосе.

Вот оно — редакция уже дает мне заказ! Но я ведь сказал тетке, что уеду сегодня в село, она и раскладушку из кухни убрала, гостей ждет.

— Так я в Пакуль собрался…

— А ты из Пакуля по телефону завтра передай. Я запишу и — в типографию. Надо что-нибудь местное.

— А о чем писать?

— Что-нибудь такое… — Он поднял руку и повертел кистью в воздухе. — Не разменивайся на мелочи.

Я шел к теткиному дому медленно, задумчиво, словно боялся что-то в себе расплескать. Собирался в дорогу — значительно. Заточил карандаш, разрезал пополам тетрадку, чтобы походило на блокнот. На окраине городка, откуда шла дорога на Пакуль, стояла толпа моих односельчан. Колхозной машины не предвиделось, сломалась, и молока сегодня не привозили. Попутки в нашу сторону почти не ходили, село глухое, в лесах и болотах. Потопали мы пешком. Я опередил всех и шел отдельно, время от времени доставая самодельный блокнот и занося в него строки будущего произведения. Я не прятался от людей со своими высокими думами, пусть видят, пусть знают…

— Ты что это, Ярослав, надулся как индюк? — первой заметила мою глубокую задумчивость крестная. — Не заболел, часом?

Обернувшись, я снисходительно усмехнулся:

— Не заболел, а редакция поручила написать в номер стихотворение. Никто, говорят, так хорошо не напишет. Приходится выручать…

— Учись, учись, сынок, — мало что поняла из моих слов крестная. — Может, большим начальником станешь, легче проживешь на свете и нам поможешь.

И крестная громко заговорила о своей дочери, муж которой, вороватый пьянчуга, унес с колхозной пасеки три улья, теперь сидит в тюрьме, а жена, дочь моей крестной, родила второго ребенка, трудно рожала, третью неделю лежит в больнице, некому куска хлеба передать, кроме матери. Женщины подхватили — у каждой была своя болячка, свои хлопоты, свое горе и свои маленькие радости. Я прибавил шагу, чтобы бабий базар не мешал мыслить о высоком. Я уже чувствовал себя на этой утонувшей в грязи проселочной дороге представителем иного, значительного мира. Наши миры почти не пересекались, словно существовали в различных временных измерениях. Приземленная, будничная жизнь, которой жили эти женщины, не годилась для моих высоких поэз — это я знал точно.

— Радость, радость вокруг, — шептал я, — море счастья — в каждом сердце звенит, кипит, бурлит…

Никто меня не учил, но уже, кажется, тогда, в неполные свои шестнадцать лет, я знал, как нужно писать, чтобы

написанное напечатали в газете. Жизнь — одно, а художественное слово — совсем иное, осознание этого пришло ко мне на уроках по литературе и никакого протеста в душе уже не вызывало. Наперекор гулу голосов на дороге, наперекор низкому хмурому небу и совсем не весенней противной мороси я нашептывал:

— Жизнь прекрасна, как безоблачное небо, безоглядная синяя высь — нет, размер не тот — безоглядная, сверкающая даль, вот!

Я остановился на обочине и записал в тетрадке-блокноте:

Море счастья вокруг,

Сердце радостно бьется,

Все ликует, поет,

Пламенеет, смеется.

Женщины, проходя мимо меня, приглушали голоса…

Утром я вприпрыжку помчался в сельсовет. Председателя еще не было, только секретарь. Мужики на крыльце дымили самокрутками, поджидая руководство.

— Мне нужно срочно позвонить в редакцию, — обратился я к секретарю. Телефонный аппарат висел на стене, у раскрытого настежь окна.

— Звони, — кивнул секретарь, не отрываясь от бумажек, разложенных на столе.

— В редакцию, — повторил я значительно.

— Звони хоть самому прокурору.

Непослушной рукой — впервые в жизни! — я набрал телефонный номер.

— Это Ярослав Петруня, из Пакуля, говорит. Записывайте, буду диктовать, — я старался говорить баском, но непослушный голос срывался на звенящий фальцет. — "В праздничных колоннах" — стихотворение называется. "Солнце майское светит, флаги ярко горят, все вокруг зелень-скатерть укрыла..."

— Медленнее и громче, — властно прозвучало в трубке. — Плохо слышно. "Солнце майское..."

Я уселся на подоконник, тетрадку со стихами положил на колени — чувствовал себя в сельсовете все увереннее. Теперь и секретарь и мужики на крыльце прислушивались к каждому моему слову.

— "...Все вокруг зелень-скатерть укрыла..." Зелень-скатерть, ну это образ такой! "Сердце радостно бьется..."

Я кричал на всю улицу. Возле сельсовета останавливались люди, спрашивали у мужиков на крыльце: "Что это он такое говорит?!"

К сожалению, стихотворение я написал короткое, и вот продиктована последняя строка. А мне хотелось диктовать и диктовать. Весь день и завтра. И послезавтра. И пускай сидят на крыльце мужики и слушают. И секретарь — с открытым

ртом. Прощально тутукал в ухо телефон. Театр окончен. Но занавес опускать не хотелось.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал я в трубку. — Всегда выручу, если нужно. Хоть я и очень занят. Меня еще в Киев просили написать и для Москвы в две газеты. Сам чувствую, что стихотворение удалось. Но за высокую оценку — спасибо...

Повесил трубку, солидно кивнул секретарю и вышел на крыльцо. Вдруг захотелось сыграть еще один акт сольного выступления. Последний. Дядя передал отцу коробку "Казбека", на праздник. Вчера в лихорадке забыл отдать. Я достал коробку из кармана, открыл ногтем, развернул серебряную фольгу и протянул мужикам. Они взяли по папироске, взял и я. Я никогда не курил, даже с мальчишками в поле, когда пас свиней. Я прикурил, затянулся — в голове помутилось, дым разрывал легкие и горло, но я стоял на крыльце, заложив левую руку за спину, так стоял на торжественных школьных линейках директор пакульской семилетки, и курил, пока не вспыхнул в пальцах бумажный мундштук. Потом я медленно, потому что ступеньки явно уменьшались, дробились подо мной, сошел с крыльца. Улица качалась, ноги подгибались в коленях. Я старался идти вдоль забора, хватаясь за штакетины, чтобы не упасть. Небо было зеленое, а солнце на зеленом небе — красное, как желток в насижы, иенном яйце. Я едва доплелся до сельмага, из последних сил пересек ток, свернул за амбар здесь меня вывернуло наизнанку. Почти весь день пролежал я под старой, на сваях, кладовой, погибая от тошноты на влажной холодной земле и давая этой земле клятву никогда не курить и не писать стихов...

Глава остросюжетная

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН

Ну чего ему недоставало, этому Петруне, если подумать?

Слава, дача, машина, деньги…

Все, от чего он отказался, далось ему легко. Не то что мне — по крутым ступеням. Как пришло, так и ушло. А я предвидел это, если хотите. И никогда не завидовал. Пускай у него слава, пускай шальные деньги, зато у меня твердая зарплата дважды в месяц, выслуга лет, уверенность в завтрашнем дне, персональная машина, что еще? Персональной машины, правда, пока нет, но скоро будет, начальник мой уходит на пенсию, министр уже вызывал меня на предмет дальнейшего роста. А начальник отдела министерства — это уже кое-что. А слава — и у меня она есть. Когда, к примеру, приезжаю в область или в район, там такое делается! На руках носят… И финская баня с чешским пивом, и рыбалка, и охота в сезон. И в таком солидном обществе, что Петруне и не снилось. Потому что от меня тоже кое-что зависит, кому надо — тот знает и соответственно ценит. А Петруня — это чернильный пузырь, надуется и лопнет, и меня, например, нисколько не удивил ночной звонок Ксени, я знал, что рано или поздно это чем-то подобным кончится.

Итак, осмотрев машину Петруни, я поехал в село. В конторе колхоза сказали, что председатель на ферме, там писатель из Киева Иван Иванович Бермут должен читать лекцию. На полпути к ферме мне встретился "газик", за рулем которого горбился Бублик. Он глянул на меня с тревогой.

— Есть новости?

Я ответил вопросом:

— Ты сказал товарищу Бермуту о машине Ярослава?

— А кто меня уполномочивал? В милицию я сообщил, как положено. А Бермут уверен, что Петруня сбежал от чрезмерных почестей в Киев, переел сладкого, говорит.

— Правильно. Только бы уважаемый товарищ Бермут поскорее отбыл из села. А то раззвонит по миру. А я обязан представить общественности только проверенные факты.

— Да тут оно так получается, что я и сам не против избавиться от нашего гостя. — Бублик виновато улыбнулся: — Свеклу копаем, и кукурузы еще ого-го в поле, а на дворе-то осень не сегодня завтра, и дожди, и мороз, все что хочешь, зиму раннюю обещают наши сельские метеорологи. А из района звонят: организуйте товарищу Бермуту слушателей. Парторг у меня молодой, недавно выбрали, людей толком еще не знает. Езжай, говорю ему, на свеклу, а я гостем займусь. А гость — обеспечь ему семь лекций, и не меньше. А где я ему семь аудиторий возьму? Комплекс остановлю? Так он напрямик: отметьте мне семь путевок, поставьте печати, а деньги на культурные нужды вы все равно списываете, вчера, говорит, я таким макаром за день восемнадцать выступлений сделал в районе, хоть и на пенсии, а внуки деньги любят… И в нос сигарой дымит. Вот, думаю, не родись мудрым, а родись нахальным. Я еще вчера посмотрел, как он организовывает Петруне спектакль после спектакля, и подумал: мне бы такого экспедитора — колхоз бы мигом в гору пошел. Культмассовые деньги мы действительно списываем ежегодно, подавись ты, думаю, подпишу — и мотай отсюда. Так завфермой запер несколько доярок в домике животновода, чтобы не разбежались, у каждой дома работы полно, хочется побольше на огороде успеть, пока погода, а я — в контору, печати ставить.

Иван Иванович Бермут сидел на крыльце дома животновода и коптил синее сентябрьское небо своей

неизменной сигарой. Стул под ним не просматривался: тело расплылось, словно дрожжевое тесто через край дежи. Тщательно выбритая голова блестела на солнце, навевая ассоциации: то ли нимб, то ли ореол… Но обвисшие мешки бурых щек и такое же мясистый нос несколько приземляли образ творца нетленных ценностей.

Я остановил машину у крыльца. Бермут неожиданно легко вскочил со стула и понес мне навстречу полушарие живота, рассеченное надвое длинным темным галстуком:

— Иван Иванович Бермут. К сожалению, не вермут…

И захохотал, поблескивая золотыми зубами. Могучее тело сотрясалось, словно воз сена на замерзшей дороге. Это его коронная шутка — о вермуте.

— Узнал, что вам тут не помешает еще один слушатель…

— Это вы в точку! — закудахтал Иван Иванович, пренебрежительно кивнув в сторону фермы: — Разве им здесь нужна литература?! Если бы давали ситец — вот была бы массовость… А мне сказали, что вы еще вчера уехали в Киев.

— Служба такая, — вздохнул я, — снова погнала во Мрин. Наведался в гостиницу — ни Петруни, ни вас. Вспомнил, что в Пакуле намечались торжества, ну и заехал, вдруг, думаю, и на мою долю перепадут крохи славы с чужого стола…

— Он еще ребенок, наш и ваш Ярослав Дмитриевич! Ему не торжества устраивать, а выпороть бы как следует, вот что я вам скажу. Только ему прошу ни слова. У меня — трое внуков, и все трое в карман к деду заглядывают. Видно, и правнуков придется кормить и пристраивать… Я на месяц вперед все

расписал, свои обязанности знаю. Я создал миф, легенду о писателе Петруне, я — мифотворец, а Ярослав Дмитриевич не ценит этого, ноги об меня вытирает, а попробовал бы сам! Я добился благословения и помощи у местных властей, а вы знаете, каково это, воистину — нет пророка в своем отечестве. И не было бы никогда, если бы я не раздул огонь всенародной любви. Я поднял театр. Я расшевелил Пакуль. Я организовал местную прессу и радио. — Бермут вынул из кармана измятые листки. — Ну, первый день — это вы знаете, это вы видели. Вот — день второй, послушайте отрывок сценария.
"Взволнованные спектаклем, благодарные пакульцы приглашают своего знаменитого земляка погостить в родное село. Писатель охотно принимает приглашение". Кстати, это я раздобыл каравай и договорился с местным телевидением. Слушайте дальше. "Писатель едет по знакомым местам. У колхозного сада машина останавливается. Писатель выходит из машины и последние сотни метров идет пешком — тут ступали когда-то его босые ноги. Любуется родными пейзажами, которые всегда в его сердце. Его фотографируют, снимают на пленку. Возле крайних хат дорогого гостя ждут благодарные земляки. Подносят хлеб-соль. Писателя фотографируют с односельчанами. Девушки в национальных костюмах. Писатель фотографируется в тракторной бригаде, на ферме — земляки показывают дорогому гостю свое хозяйство, рассказывают об успехах в труде и отдельных недостатках, имеющих, к сожалению, место. Щедрое застолье в колхозной столовой. За столом — лучшие люди села, колхозный актив, родственники писателя. Первый тост — за хлеборобов. Писатель произносит взволнованную речь..." Ну и так далее. Какую махинищу раскрутил Иван Иванович Бермут! Утром, набегавшись уже аки пес, скребусь в дверь номера, где изволят почивать писатель. Открывает. Смотрит на меня как на классового врага. Маргарита уже в номере, а может, — еще в номере, я на это закрываю глаза, таланту — позволено. Я даже считаю, что это правильно, ибо талант — отклонение от

нормы, и в смысле общепринятой морали тоже. "Одевайся, Ярослав Дмитриевич, парадно, — говорю, — народ ждет..." А он — в истерику: "Не хочу! Не желаю! Я вам не кукла, не марионетка, которую за нитки дергают, а я — танцуй! Не желаю!" У меня колени задрожали — все уже запущено, фотокорреспонденты — внизу, автобусы, телевидение. Репортаж уже написал, с тремя редакциями договорился: дадут в номер. "Если вы враг себе, — стараюсь говорить спокойно, а внутри все дрожит, — то не езжайте. Но вы себе не враг. Вы понимаете значение сегодняшнего мероприятия для следующего вашего взлета". А он стал у зеркала и орет: "Меня нет! Я себя в упор не вижу! Белое пятно! Шут! Мертвец! Это все ты — старый демагог! Ты меня начал бить и добил. Я уже десять лет, садясь за стол, твое рыло вижу и думаю твоей лысой башкой — это можно, а этого Бермут не пропустит, — и не пишу того, что по твоему куцему разумению писать нельзя. Самоубийца я! Сгинь, гнида, растакую т-твою мать, пока во мне еще хоть один живой нерв остался!" На меня, заслуженного на всех уровнях, матом! Да за плечи — и в дверь! Я — в вестибюль гостиницы, звоню Ксене — никто не отвечает. Выкурил сигару, чтобы успокоиться, поднялся снова в номер, а их уже нет, и ключ у дежурной. Я во двор — машины нет. Подождал-подождал и вынужден был, сгорая от стыда, дать отбой по всем линиям. А он, оказывается, все-таки был вчера в Пакуле, без всяких встреч и торжеств, у мачехи гостил, побродил по полям и подался в Киев. Но ему гонорар-то будет капать за пьесу — хоть она и слова доброго не стоит, а сотня представлений обеспечена, — а кто моих внуков подкормит? Кто теперь оплатит мои труды? Вот и вынужден о себе позаботиться — путем платных лекций.

От коровника к нам направлялся молоденький толстощекий заведующий фермой. Лицо типично пакульское — широкие скулы, узкие глаза, а чей — хоть убей, не скажу, новое, не знакомое племя подросло.

— Больше никого не загоню. Давайте начинать, а то и эти разбегутся. Время горячее, людей понять можно, если б вы зимой приехали…

Бермут спрятал окурок сигары и замотылял полами плаща, повернув в сторону дома животновода. Я едва поспевал за ним. В зале, на стенах которого рябили графики отелов и диаграммы роста надоев, сидела молоденькая ветврач в белом, накрахмаленном халате, на ушко ей что-то смешное нашептывал колхозный зоотехник, пакульский парень, я с его братом ходил в школу, поближе к выходу щелкали тыквенные семечки три доярки, а у самых дверей, положив на колени потертую кроличью шапку, дремал повар кормокухни — в брезентовом фартуке. Иван Иванович уверенно обогнул ряды стульев, стал у стола, застеленного красной скатертью в синих чернильных пятнах, окинул взглядом зал, словно тот ломился от народа, и неожиданно сам себе зааплодировал. Доярки заулыбались и тоже захлопали в ладоши, высыпав в карманы семечки, зоотехник и ветврач сделали вид, что тоже аплодируют, хоть ничего и никого вокруг не замечали, заведующий фермой энергично бил в ладоши, дядька в брезентовом фартуке, воспользовавшись оживлением, надвинул шапку и выскользнул из зала. Бермут развел руки, словно готовился к физкультурному упражнению, согнул в коленях ноги, подвел глаза к потолку — и заблажил:

— Становлюсь на колени и целую землю, родившую выдающегося писателя нашего времени, славного пакульца Ярослава Петруню! Целую землю, подарившую нашему народу этот большой талант. Босыми ногами с первых шагов своих он ходил по земле пакульской, вбирая ее силу и величие. И Ярослав Дмитриевич щедро отплатил и отплачивает родной матери-земле своими значительными произведениями, своим пламенным словом. Сын крестьянина из глухого Пакуля, затерянного в полесских хлябах и болотах, он достиг

высочайших вершин духа и занял высокое общественное положение, но еще не все, быть еще нашему Петруне и лауреатом, и академиком. Вчера все мы были свидетелями его колоссального триумфа на сцене областного театра. Но это был и ваш триумф, дорогие товарищи, уважаемые всеми нами пакульцы. Ибо пьеса Ярослава Петруни "Земные радости" — о вас, о ваших радостях, о вашем звонком, радостном смехе, о ваших выдающихся достижениях на поприще духа, и написана она вашим земляком, плотью от плоти этой благодатной земли, великим пакульцем Ярославом Петруней. Хожу я сегодня по этой земле и думаю: могла ли мечтать мать, качая в люльке сына, что когда-нибудь через несколько десятилетий хлеборобы области будут чествовать ее славного сына на сцене театра, на сцене духовных свершений, на великой сцене жизни…

Вот такую ахинею возвышенным, торжественным тоном нес Иван Иванович минут двадцать. Я нетерпеливо посматривал на часы. Наконец Бермут оборвал себя на полуслове и спросил аудиторию:

— Уважаемые друзья мои, вопросы будут?

Доярки зашевелились, Бермут смотрел на них подбадривающе:

— Смелее, активнее, уважаемые.

Одна из женщин поднялась:

— У меня есть вопрос, товарищ лектор. А когда нам, товарищ лектор, выдадут новые халаты?

Заведующий фермой сердито скрипнул стулом:

— Этот вопрос мы решим в рабочем порядке.

— Да, да, — подхватил Бермут. — Вопрос не по существу затронутых мною проблем. Если вас что-то интересует из области современного литературного процесса — прошу.

Аудитория молчала.

— Поскольку вопросов нет — благодарю за внимание.

Завфермой громко зааплодировал. Зоотехник и ветврач тоже захлопали в ладоши. Доярки дружно поднялись и пошли к дверям.

— Ну как? — уже в машине спросил меня Бермут. — По-моему, грандиозно.

— Блестяще, — кивнул я не оборачиваясь, чтобы Бермут не видел моей ухмылки. — А скажите честно: вы действительно считаете Ярослава Петруню выдающимся писателем?

— Талант — истинный, мне бы десятую долю его таланта! — искренне воскликнул Бермут. — Но для настоящего писателя у него слабоват характер. Знаете, писатель, если он писатель, свое слово должен уважать и беречь, а не разменивать на медяки. Талант без нравственной позиции и характера в наши дни — общественно опасен. Как оружие, которое находят в земле. Неизвестно, в какие руки попадет и когда взорвется. Это говорю вам я — Бермут!..

— Помню, он начинал интересно и смело. Кажется, вы его тогда критиковали…

— На волне времени, не забывайте, на волне времени всплыл, при попутном ветре, Петруня, — как парус: пока ветер дует, он плывет, — а иначе нет Петруни. И я был на гребне волны, а теперь никому не нужен. Критиковал!.. Так я и Григора Тютюнника покойного критиковал, покритикую, гонорар получу и выпиваю с ним, а он мне говорит через стол: "Спасибо, Иван Иванович, что покритиковали, теперь я знаю, что написал нечто путное, а похвали вы, — ночей бы не спал, мучился, что исписался, — Бермут хвалит". Нынче он в гениях, и я горжусь, а Петруня сам свой талант в зародыше задушил. Моя служба такая — критиковать, но не я последняя инстанция.

— А кто же — последняя инстанция?

— Сам писатель! Только он! Вот вы меня подковырнули и радуетесь, ага, досадил тебе, старый критикан! Демагог! Приспособленец! Как там меня еще называют за глаза? А некоторые и в глаза, теперь так. Теперь можно, ныне последняя бездарь норовит лягнуть. А когда я был на коне, когда в издательстве работал, издалека, через улицу здоровались, шли ко мне на исповедь, у дверей кабинета толпились. А с кем Иван Иванович соизволят пообедать в ресторане — тот счастливец! Но не только в этом дело, здесь глубины психологии наблюдаются. И Ярослав Петруня на седьмом небе от счастья был, хоть и себе в этом не признавался, когда я возвратил его поэтически-ироничную писанину! Парадокс, но правда. Называйте меня как хотите, но глупый, бездарный, бестолковый, ретроградный Бермут позволил этому самому Петруне и уважение к себе сберечь, потому что как можно жить без уважения к себе, хоть капельку его, а нужно, и спать спокойно, и "Волгу" купить, и драгоценности с каракулевой шубой для супруги, и дачу… Петруня без Бермута — голый король, я жить ему давал и жизни радоваться. Я позволял ему за рюмкой и без рюмки

говорить: эх, такую вещь написал, такую гениальную вещь, но Бермут не напечатал. Или жаловаться в кругу друзей: есть у меня одна задумка, ничего подобного еще не было, но ведь Бермут все равно не напечатает. Возвращался домой, довольный собой, садился за письменный стол и строчил на пишущей машинке то, за что не надо бороться, что легко обменивается на гонорар. Петруня и Бермут — сиамские близнецы, у нас с Ярославом — общая кровеносная система, мы друг без друга не можем! Пока я был в издательстве, пока от меня что-то зависело, Петруня был защищен от комплексов, он себя уважал, он любил себя, пусть не реализованного, но потенциально — значительного писателя. Теперь меня, считай, нет, и он самоедствует, разве я не понимаю. Нет Бермута в издательстве, пиши, твори, говори людям, что выносил, выстрадал, из глубин души черпай, но если не из чего — не выносил, не выстрадал, если здесь — пусто, — Бермут хлопнул себя в грудь, — никаких убеждений, никаких настоящих желаний, кроме единственного — быть на виду, — тогда что? Никогда не признавался себе в том, что в душе — дупель-пусто, считал себя кладезем духовности, а нет Бермута — вынужден признаться, что пора опускать занавес, спектакль окончен, сцена пуста. Скверно, скверно Петруне без Бермута!..

Краем глаза видел, как набухает кровью, багровеет лицо Ивана Ивановича, и мне стало страшно: что, как хватит его удар, прямо здесь, среди поля? Что я буду с ним делать? Я опустил стекло, свежий, настоянный на соломе, бурьяне и прижухлой листве ветер выплеснулся в душный салон. Бермут хватал воздух открытым ртом, как рыба на песке, и постепенно успокаивался. Поля вдоль дороги напоминали пестрые ковры, что ткала когда-то моя бабушка, возвращали в детство. Бросить бы машину, уйти в осенние поля и вернуться в страну детства, все-все начать сначала. В школе я мечтал о геологии, читал все, что мог достать в селе, бредил дальними экспедициями, жизнью в палатках, романтическими

приключениями, а поступил в торговый институт и вот уже сколько лет просиживаю штаны в министерстве, от звонка до звонка, сорок пять минут на обед. Городские родственники рассоветовали поступать в геологический, дескать, разве это жизнь — постоянно в разъездах, да на край света, без бытовых удобств, это пока молодой, а с годами проклянешь день, когда выбрал такую неспокойную профессию. Сейчас бы не послушал родственников, но жизнь дается всего один раз. И женился бы на дивчине из Пакуля, которая мне очень нравилась, клялся на выпускном вечере, что буду любить вечно, а забыл через месяц, уехал учиться в Киев. Многое бы переиначил в своей жизни.

Выжал акселератор, словно пытался удрать от искушения, от своих мыслей, и машина буквально влетела в мринский пригород. Молчал Бермут, молчал и я. У междугородной переговорной станции Иван Иванович тронул меня за плечо:

— Остановитесь здесь, милейший. Позвоню Ярославу Дмитриевичу, не будет ли каких поручений, и пора в Киев.

— Не надо звонить, травмировать Ксеню. Нет Ярослава в Киеве. Исчез в неизвестном направлении.

Хоть я и пытался изображать равнодушие, но голос мой прозвучал тревожно. Бермут на глазах съежился, достал сигару, прикурил, закашлялся. Машина остановилась возле гостиницы. Я переждал кашель и не попросил, а приказал, возвращаясь к своей тяжкой роли следователя:

— Возьмите на стоянке такси, найдите в театре Маргариту, а не в театре, так хоть из-под земли достаньте и привезите ее ко мне в гостиницу.

Не ожидая ответа, я хлопнул дверцей и поднялся на второй этаж гостиницы в люкс, числящийся еще за Ярославом Петруней.

Глава аналитическая

ГАЛИФЕ

Да не оправдываю я себя, а пытаюсь понять!

Вот я бегу домой с похвальной грамотой за первый класс — сплошные пятерки! Мать смазывает дегтем спину корове и плачет: коров впрягали в бороны, лошадей в бригаде не хватало, наша норовистая Лысуха прибежала с поля до крови исхлестанная прутьями акации. Мать мельком глянула на мои пятерки и снова плачет, теперь от радости:

— Учись, сынок, может, станешь начальником, галифе носить будешь, легче проживешь…

В галифе ходят финагент, председатель колхоза и бригадиры. Галифе — символ власти, знак достатка. Из трубы хаты, в которой жил финагент Покрышень, всегда так вкусно пахнет! Утром, когда я бегу в школу. То дерунами на сале, то яичницей, то гороховниками, то пампушками с чесноком, то свежиной… Галифе у финагента — с блестящими хромовыми наколенниками и хромовой, в форме червового туза, заплатой на заду. Напробовавшись разливной, из бочки, водки, он скользит от магазина, что на горе, до самой своей хаты на хромовой заднице, словно на санях. Галифе бригадира — из ворсистого черного сукна, каждая штанина — распростертое крыло ворона, не идет, а летит по селу, чиркая раскрыльями штанов по плетням. У председателя галифе — строгие,

милицейские, на синих штанинах — красный кант как нарисованный, что молния после долгой жары перед дождем.

Кажется, я снова оправдываюсь.

Только на следующее лето мой сын будет поступать в университет. На факультет журналистики, естественно. А моя Ксеня уже развернула бурную деятельность. Да и я все приветливее раскланиваюсь с преподавателями университета. Выстилаем пухом и без того мягкую с детства Орестову дорогу. Я не завидую сыну. А может, немножко и завидую. Ковыряться в собственной душе — все равно что колодец копать. Уже прошел пласт глины, уже и под ногами мокро, уже и ведро воды за ночь набралось и мигает зеркальцем на дне колодца, а настоящие родники — где-то ниже, и неизвестно, докопаешься ли до них. Завидую или нет, а знаю одно: мою дорогу некому было стелить. С ужасом вспоминаю ту весну. Не очень-то верьте красивым словам о семнадцатилетних, до чертиков надоело. Жизнь толкает тебя в спину, земля уходит из-под ног, а ты еще не знаешь, есть ли у тебя какие-никакие крылышки — то ли взлетишь, то ли рухнешь вверх тормашками в пропасть. Учиться мне было не на что. Редакция газеты, где напечатали два моих стишка, договорилась было с районным отделом культуры, чтобы меня направили заведовать библиотекой в один из лесных хуторов, и мысленно я уже выпускал бригадную стенгазету. Но недели за две до выпускного вечера, со школьным портфелем в руках я переступил порог очень высокой областной организации и попросился на работу в любую, самую отдаленную районную газету, напал на доброго человека, который прочел мои стишки, расспросил об обстоятельствах моей жизни и пожалел парнишку. С последнего экзамена меня вызвали в ту самую высокую организацию, и к вящему удивлению учителей на выпускном вечере я как бы между прочим говорил взволнованным своим одноклассникам:

— Эх, кончилась юность беззаботная, завтра уже — на ответственную работу…

— Кто ж это тебя, шмендрика, пристроил? — удивлялись те, что носили шевиотовые костюмчики и еще вчера походя отвешивали мне подзатыльники, — Что, родственник там работает?

— Талант устроил! — гордо отвечал я…

Вот что меня гнетет больше всего. Уже тогда я вышел со своим талантом на ярмарку тщеславия. Уже тогда выделял себя из прочих. И считал вправе претендовать на большее, чем мои вчерашние товарищи. Конечно, историю моей юности можно рассказать иначе. Как это делает Бермут в своих полуграмотных дифирамбах. Сказочка о сельском юноше, преодолевающем жизненные препоны и выходящем на свою верную дорогу. О золушке, которая нашла своего принца, а злая мачеха и злая судьба пристыжены. А я разрушаю классический сюжет. Я ломаю хребет классическому сюжету. Я нарушаю правила игры.

Потому что:

Вот я уже в Тереховке, на остановке автобуса, в руке зеленый фанерный чемодан с висячим замком, я спрашиваю, где редакция, иду, брезгливо обходя коровьи лепешки, по сельской улице, и на лице моем написано: я важная птица, гость из города, командированный в Тереховку высоким учреждением, чтобы осчастливить собой этот районный поселок; вот я уже переступаю порог редакции районной газеты и направляюсь к редактору, а мне говорят, что редактор на совещании, будет позднее, и спрашивают, кто я

такой, а я горделиво называю высокое учреждение и не понимаю, почему перемигиваются мои будущие коллеги…

Вот я сижу на скамейке под шелковицей и жду редактора, во двор редакции сворачивает дородный мужчина, с красным лицом и голубыми младенческими глазами, но я вижу лишь блестящие хромовые сапоги, широченные галифе и китель из сукна защитного цвета и уже примеряю на себя эти галифе и китель, уже скрипят на мне сапожки, уже шуршит празднично жесткое сукно, уже поднимают меня над землей крылья широких галифе — словно два аэростата…

А вот мое второе лето в редакции, я уже в галифе и кителе, правда из дешевенького темного сукна, соответствующего моей корректорской зарплате, и сапоги на мне, и бархотка в кармане, которой я время от времени смахиваю пылинки с блестящих носков сапог; транспорта в редакции нет, редактор позвонил главному агроному, и тот согласился взять меня в поездку по району; главный усаживается возле шофера на переднем сиденье, он также в галифе, и хромовых сапогах, и в кителе с белым коленкоровым воротничком, и с солидным, значительным выражением лица; я — копия главного агронома района, даже лица у нас похожие, словно я сын его или близкий родственник, похожи не чертами, а выражением, и я так же, как и он, едва киваю встречным тереховцам из окна машины, словно одариваю их своим приветствием, и так же хмурю лоб, думая о значительном, о судьбах людей и государства, и так же раскуриваю папиросу "Казбек"; вот мы выходим из машины, идем по колхозному полю, руки за спину; я отстаю от главного на шаг, копируя его походку и его скупые значительные движения, а колхозный бригадир семенит сбоку; женщины, поздоровавшись с нами, снова сгибаются над рядами свеклы, главный распекает бригадира, прополку затянули, теперь приходится спешить, а где спешка, там и брак; я наклоняюсь,

заложив левую руку за спину, правой выдергиваю в уже прополотом рядке стебелек сурепки и с укором говорю колхознице: "Да, много сорняков оставляете...", бросаю сурепку ей под ноги и осторожно, чтобы не запачкать застегнутый на все пуговицы и все крючки китель, ладонью об ладонь, стряхиваю комочки липкого после недавнего дождя чернозема; колхозница разгибает спину, опирается на тяпку и смотрит на меня, в глазах ее усмешка и жалость, но я уже и еще — слепой, вижу только себя, а усмешку эту и жалость вспоминаю лишь теперь, через двадцать с лишком лет...

Глава оптимистическая

МОЯ ГАЗЕТА

А может, я наговариваю на себя?

Или у меня, как у того идола, поднятого археологами со дна Збруча, не одно лицо, а много лиц, на все стороны света?

Потому что это тоже я, Ярослав Петруня:

Еду на стареньком велосипеде редактора по полевой дороге; желтая лента созревающей ржи на обочине, крепленная звездочками васильков, цветущее бело-фиолетовое картофельное поле до самых синих небес на горизонте — небо вздымается крутым соборным сводом, его венчает слепящая маковка солнца в зените; встречный ветер надувает шелковую рубаху, первую обнову, приобретенную на первую зарплату, наполняет восторгом каждую клеточку моего тела, и я уже не еду, а лечу над полями спелой пшеницы, и это счастливое упоение полетом навсегда поселится в моей памяти, и я стану тем, кем являюсь теперь.

Еду-лечу выполнять свое первое редакционное задание — написать зарисовку о заготовке кормов в соседнем с Тереховкой селе. Налегая всем телом на педали, взбираюсь на бугор: открывается сиреневое поле, это цветет люпин, по полю плывет железная цепочка — трактор, жатка и автомашина, в кузове которой пенится трава; иду напрямик по скошенному полю, правая рука на седле велосипеда, мол, это для меня так привычно — вести велосипед, а левая, горячая, потная, сжимает в кармане карандаш и блокнот; подъехав к агрегату, властно поднимаю руку, машины останавливаются.

— Спецкор редакции Ярослав Петруня! Как работается, товарищи?

Губы дрожат, но щеки и грудь раздуваю, поднимаюсь на носки, чтобы казаться выше. Тракторист, высунувшись из кабины, какое-то мгновение молча разглядывает меня.

— Хорошо работается, товарищ. Вы что там, новенький, я вроде в редакции всех знаю…

— Недавно прислан из области. На укрепление редакции…

— Так что работается хорошо, а вот заботиться о нас руководители не хотят, может, пресса поможет. Компрессии, — тракторист кивает на мотор, пышущий жаром, день знойный, безветренный, — осталось на самом донышке, а они, черти, не подвозят, и что делать, не знаю.

— А в колхозе есть… компрессия? — едва выговариваю новое для меня слово. — В достаточном количестве?

— Есть, есть, — кивает тракторист, — во-о-он, у вагончиков полевого стана — полная цистерна, но никто не подвозит…

— Распоряжусь! — солидно киваю я.

— Ага, распорядитесь, пожалуйста, товарищ, будем вам очень благодарны. Увидите возле вагончиков бригадира тракторной, передайте, что Максим Пшенка просил и молил как можно быстрее ему компрессию подвезти, а если не на чем, так хоть в ведре пусть принесут, если подводы нет. Не то остановимся, тогда уж точно критиковать будете…

— Да я сам, если что, принесу ведро! — кричу я уже совсем по-мальчишечьи и спешу вдоль поля к стану тракторной бригады. А в голове вертятся строчки будущей зарисовки: созревают хлеба, сиренево цветут травы, синее небо, рокот тракторов, запах скошенных трав, утомленное, но исполненное трудового энтузиазма лицо опытного тракториста Максима Пшенки: "Работаем на полную мощность. Даем по три нормы. Могли бы и больше, если бы вовремя подвозили компрессию". Один из подзаголовков раздела зарисовки: "Тракторист Максим Пшенка: "Компрессию подвозят с опозданием".

В лощине, у вагончиков, обсаженных молодым вишняком, лысый человечек с добрыми, напоминающими редакторские глазами ремонтировал мотоцикл.

— Вы — бригадир тракторной? — строго спрашиваю я. — Почему нарушаете ритм работы?

А в голове рождаются абзацы:

"— Задерживают подвозку компрессии к тракторам, — говорит механизатор Максим Пшенка, и в голосе труженика звучит искренняя тревога и забота о ходе заготовки силоса.

Но бригадир тракторной бригады далек от этих тревог — в горячую летнюю пору он преспокойно ремонтирует собственный мотоцикл".

— А вы, часом, не из редакции?

— Из редакции, выполняю ответственное задание.

— Звонил редактор, звонил, — бригадир наклоняет голову, чтобы я не видел его глаз, наверное, все же стыдно стало. — Просил помочь. Сейчас поедем по полям, я вот своего коня слегка подкую. А этот Максим Пшенка вас не первого за компрессией посылает, на моей памяти уже трех уполномоченных заставлял по полю с ведрами бегать, компрессию искать... Ну я ему покажу!.. Надо же головой думать, кого ты, чертов сын, разыгрываешь, хоть перед тобой и юноша со школьной скамьи, но все же — представитель редакции!.. Компрессия, Ярослав, так тебя, кажется, зовут, это, можно сказать, дыхание мотора, ее ни в цистерну, ни в ведро не нальешь... Поработаешь в редакции — все будешь знать, такая у вас, журналистов, служба, понемногу обо всем... Я сам газетчиком смолоду хотел стать, но война, вместо университетов — на фронт, в танковые войска, а после войны — лишения, колхоз надо поднимать. Но в газету пишу, селькором теперь называют, хоть работы много, тракторный парк растет. Садись в коляску и не вешай носа, в жизни на первых порах и не такое случается, нужно пережить и идти дальше, а задание твое мы выполним и перевыполним, я тебе все данные предоставлю...

Я умываюсь свекольным соком, помираю от стыда, мне не хочется жить, и ветер, летящий навстречу мотоциклу, высушивает мои слезы, такие еще детские слезы, и я благодарен ветру за это. Но понемногу отчаяние проходит, я проникаюсь заботами людей, с которыми меня знакомит

бригадир, его собственными заботами и проблемами и впервые чувствую свою, хоть маленькую, причастность к добрым делам, которые совершают на земле люди. В один из тереховских вечеров я напишу в дневнике: "Весь день провел на селе, познакомился с прекрасными тружениками, и на сердце стало радостно, солнечно. Среди людей, в полях весенних я выздоравливаю душой..." Теперь я умею писать красиво и велеречиво о чем угодно. И уже не верю собственным словам. Но тогда эти полугазетные слова были искренними. Снова и снова, когда мне будет очень плохо, я буду уезжать к людям, в поля и там лечить свои тереховские болячки, свои душевные раны после стычек с миром, не признающим мои права на исключительность...

Возвращаюсь в Тереховку вместе со стадом. Столовая уже закрыта, но в ящике моего письменного стола — мятные пряники. Я жую их, запивая водой из графина. В глубокой задумчивости брожу по пустым редакционным комнатам, и в результате таких творческих хождений рождается заголовок: "Зимою скот скажет вам, люди, спасибо!" Подумав, зачеркиваю "люди" и пишу сверху — "труженики". Устраиваюсь удобнее на стуле — творю. Ночь за окном непроглядная, как густые чернила. Мимо редакции возвращаются из клуба — кино окончилось — девчата, напевают. Песня, и девичий смех, и перекличка парней — не про меня, я творю. И когда приходит на работу ответственный секретарь редакции, полная, неповоротливая женщина, весьма консервативный газетчик и очень добрый человек, на столе у нее уже лежит репортаж-зарисовка страничек на десять ученической тетради. Я еще пишу в ученических тетрадках, ученическим почерком. Красный карандаш секретаря, как хирургический скальпель над телом, зависает над моим опусом, из-под карандаша сочится моя живая кровь. Я бросаюсь на его острие, как на штык в пылу атаки, секретарь поднимает на меня спокойные, уж очень трезвые глаза:

— Так нас учили на семинаре...

На месячном семинаре работников районных газет она была лет за пять до моего приезда в редакцию.

Об этом семинаре я буду слышать на протяжении всех лет, проведенных в Тереховке, и — бунтовать. Безнадежно.

Сократив наполовину, секретарь положила мой репортаж-зарисовку на стол редактора. Редактор, как всегда, спешил на заседание и возразил лишь против заголовка.

Глава эпистолярная

МАРГАРИТА

"Добрый день, Маргарита. За темными окнами стонет ветер, дождь стучит в стекла, а я уже, может, в сотый раз меряю шагами редакционную комнату и — думаю. Думаю о том, как сложились наши с тобою судьбы и как нам жить дальше. Вчера, там, в ресторане, прежде чем внезапно подняться из-за стола и сказать, что ты уходишь от меня навсегда и чтобы я не провожал тебя, ты сказала: "Ярослав, ты будешь большим человеком..."

Конечно, для своих двадцати лет я достиг многого. Я — секретарь редакции районной газеты, скоро меня переведут в редакцию областной газеты, учусь заочно в столичном университете, мои очерки и статьи все охотнее печатают республиканские и центральные газеты, слава моя растет, она уже давно переросла границы Тереховского района и будет расти дальше, я тоже верю в это. Что ж, в ранней юности я поставил себе цель и делаю все для ее достижения. Упорное движение к цели — и есть моя жизнь. Ты помнишь меня

пакульским мальчишкой в красных чунях, в старой отцовской фуфайке и в залатанных, с пузырями на коленях брючатах. Таким я пришел в восьмой класс шептаковской средней школы, потому что в Пакуле — только семилетка. Твоя необыкновенная красота глубоко поразила меня. Это неправда, что любовь — только для взрослых. Дети, а я был тогда еще ребенком, влюбляются и страдают еще острее, чем взрослые, у детей больше искреннего, настоящего. Но ты казалась мне недосягаемой. Какие кавалеры — старшеклассники, в шевиотах и вельветах (тогда только входили в моду вельветовые куртки с замками на груди — боже, как я мечтал о такой куртке!) увивались за тобой, дочерью председателя шептаковского колхоза! Впрочем, ты спросишь, какое это имело значение, чья ты дочь. Тогда для меня — имело. Ты — избранная, разодетая, как куколка, как картинка, а я...

И все же каждое утро я спешил в школу — как на праздник. Одно время сидел на парте впереди тебя: о, это была несказанная радость — оглянуться и увидеть твои удивительные глаза с длинными, словно нарисованными, ресницами. На зимние каникулы в нашей школе устраивали вечер для старшеклассников, снегу намело под стрехи, и все мело и мело, никто из пакульских не пошел на вечер, и только я отшагал семь километров — заносы, пурга немилосердно сечет лицо, ветер пронизывает насквозь. Пошел — чтобы увидеть тебя. Весь вечер ты танцевала с длинноволосым артистом Мринской филармонии, похожим на манекен в витрине, а я, в мокрой фуфайке и валенках, стоял у дверей, не осмеливаясь подойти к тебе, а когда осмелился и подошел, ты сказала зло: "Отстань ты от меня! Прицепился, как репей к шубе!" И улыбнулась актеру. А я двинул в обратный путь, по сугробам, в ночь, сквозь вьюгу. Дойдя до верб, что на середине пути, меж Шептаками и Пакулем, я услышал волчий вой, возле скирды мелькнули зеленые огоньки, волки сопровождали меня

до крайних пакульских хат, и — веришь? — я почти не боялся, потому что не хотел жить, ты меня не любила.

Если бы ты, Маргарита, знала, сколько бессонных ночей, лежа на печи, у оконца, от которого веяло холодом, я мечтал признаться тебе в любви! Я дал себе слово, что признаюсь на Первое мая, отец обещал купить к празднику новые штаны. Но перед праздником бурбонистый математик, с которым я постоянно препирался, хотя другие ученики его боялись, выгнал меня из класса и не велел являться без отца, я неделю не ходил в школу, представлял даже, что будет математику, если я покончу жизнь самоубийством.

Но зачем я тебе все это рассказываю? В последнее время записываю все, что на сердце, ибо лишь написанное остается после нас, смертных. Скажешь, рано мне о смерти думать. Не очень уж и рано — минувшей осенью разменял третий десяток. Сегодня закончил отличный очерк. "Любовь" называется. Для областной газеты. Сообщу тебе, когда будет напечатан, прочтешь, твоим мнением о моем творчестве очень дорожу. Так вот, дописал последнюю страницу очерка и подумал: сейчас мне возвращаться из редакции на квартиру по темным безлюдным огородам, по улице не пройти, такая грязь, и если даже какой-нибудь "герой" моих фельетонов посягнет на мою жизнь, очерк существует, очерк останется навсегда…

Разве это не решение вечной проблемы — смерть и бессмертье? Собирал материал для очерка и почти весь день пробыл в соседнем селе, в бригаде коммунистического труда. Познакомился с прекрасными людьми, и так хорошо стало на душе, что шел к трассе пешком и пел во все горло. После нашего вчерашнего разговора, после бессонной ночи, когда я в глубоком отчаянье думал о судьбе нашей (а точнее — моей) любви, мне остро необходима была эта поездка в село и

сегодняшний творческий успех (очерк, чувствую, удался, хоть над заголовком еще следует подумать).

От трассы до Тереховки ехал на грузовике, в кузове. Недалеко от центра машина остановилась, навстречу двигалась похоронная процессия. Кое-что записал в дневник. Для размышлений. Может, и тебе будет интересно. Ведь вопросы жизни и смерти не могут не волновать. Вот страничка из моего дневника: "Ранняя весна, снежная каша под ногами. В кузове машины — много людей. Бабуся оживляется: "Вот хорошо, и я увижу похороны!" Агроном семенной станции: "Придется шапки снимать..." Бабуся: "Когда я работала в больнице, доктор говорил: если умер человек, что-то умерло в нас". Похоронная процессия проплывает мимо. По ту сторону улицы повязанная платком женщина кричит со двора сыну: "Куда полез?! Убью неслуха!" Трактор, тянущий сани, остановился возле машины, кто-то сошел с саней, понес ко двору связку соломы. Плывут кресты, хоругви, белое лицо покойника в гробу, молоденький краснощекий поп. Из районных учреждений спешат служащие на обед. Возле суда толпятся, громко переговариваясь, люди. На остановке толпа ожидает автобус. Процессия проходит мимо и сворачивает к кладбищу. Мчатся по мостовой автомашины, спешат, потеряли время..." Непрерывное течение жизни — вот идея этого маленького этюда.

Жизнь была до нас и будет после нас — помнишь, я развивал эту мысль на танцплощадке, а ты не захотела слушать, пошла танцевать с тем мерзким типом с торчащими, словно наклеенными, усиками, а может, и впрямь они были наклеены. Иногда мне приходит в голову: а может, я тебя выдумал? Но нет, глаза твои так глубоки, особенно когда ты остаешься наедине со мной! Конечно, иногда тебе со мной скучно, я не танцую, не умею просто болтать, а говорю с тобой лишь о серьезном, потому что считаю, что ты должна жить

высокими духовными идеалами, как и я. Признаю и свои недостатки. В этом мире за все приходится платить. Я многого достиг, но что-то и потерял. Я так и не научился танцевать, редко бываю в кино, смотрю только серьезные фильмы, такие, как "Поэма о море", который тебе не понравился и ты хотела уйти с середины сеанса, хорошо, что я задержал тебя и ты досмотрела и все же кое-чем обогатила свою душу. Я не пью спиртного, сторонюсь девушек, потому что они требуют времени, весь отдаюсь работе и нравственному самосовершенствованию. Посмотреть со стороны — жизнь моя действительно довольно скучная. Но я тебе уже неоднократно говорил, какие большие радости она дарит.

Бьет двенадцать часов, вот-вот в Тереховке погаснет электричество. Письмо уже и так длиннющее, а я еще не написал главного. Я неправду сказал, что вроде бы мы случайно встретились во Мрине. Я знал, где ты учишься. И караулил тебя возле техникума. Ты — первая моя настоящая любовь. Но не единственная. Учась во мринской школе, я полюбил Олесю, она ответила взаимностью лишь через три года после окончания школы, то есть прошлым летом. Все эти годы я бредил ее именем. Но потом понял, что я придумал Олесю. Оказалась она рассудительной, рациональной и холодной. Живет разумом, а не чувствами. Она и ответила мне взаимностью, все как следует взвесив. А в моей душе все перегорело. Встретив тебя, я перевернул новую страницу жизни. И тебе бы все начать сначала. Я уверен, что "тарзанам", вертящимся вокруг тебя на танцульках, нужно твое тело, но не душа. А я верю в твою душу, верю! Давай строить жизнь вместе — на моем и твоем пепелище.

Я подаю тебе руку, Маргарита. Этой весной ты заканчиваешь техникум, я уже — на втором курсе университета, перед нами открывается широкая и светлая дорога. Мы пойдем по ней рядом, отдавая все силы народу: ты

— на ниве здравоохранения, я — на литературной ниве. Ой, гаснет свет, а я хочу обязательно сегодня опустить письмо в почтовый ящик. Не подумай, Маргарита (как приятно мне писать твое имя!), что это снова — объяснение в любви, знаю, как они надоели тебе.

Признаюсь, когда вчера ты оставила меня там, в ресторане, так безжалостно, я с горя напился и всю дорогу до Тереховки спал на заднем сиденье автобуса. Ты говорила, что я буду большим человеком, действительно — буду, но лишь с тобой, Маргарита! Жду ответа с большим-большим нетерпением. Ежедневно буду встречать почтальона. Дописываю, подсвечивая спичками. Пускай направят тебя после техникума в самое глухое село, я пожертвую положением, успехом, даже литературой и поеду с тобой, буду работать в библиотеке, лишь бы рядом с тобой. Мы будем читать труженикам села лекции, нести свет знаний. Жду письма твоего, жду! А еще лучше — телеграфируй, немедленно приеду. Навсегда твой — Ярослав Петруня!"

Ни на одно мое письмо Маргарита не ответила, а вскоре вышла замуж, родила двух детей, развелась, снова вышла замуж, за военного, снова развелась и теперь живет где-то во Мрине. Даже адреса не знаю. Да и зачем?

Глава остросюжетная

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН

Я предъявил удостоверение и попросил открыть люкс, который занимал Ярослав Петруня. Дежурная по этажу покачивалась передо мною как утка, за которой гонится селезень. Открыв двери, она прислонилась к косяку своим дородным телом в отчаянной надежде что-либо узнать, но я

мрачно кивнул — и дежурная исчезла. В номере душно — словно на похоронах — пахло увядшими цветами, вазы стояли на столах, подоконниках и даже на полу. Розы уже осыпались, каллы жухли и сворачивались, лишь чернобривцы казались свежесорванными. "Петруня любит чернобривцы, но стойкости у них не научился", — подумал я и одернул себя: не осуждать, а понять надо. В спальне стоял чемодан Петруни — сразу же бросался в глаза, а может, для того и был демонстративно выставлен на столике. Я щелкнул замками. Почти пустой: ношеная рубашка, спортивный костюм и тапочки. Сверху лежала толстая тетрадь в зеленой обложке. Интуиция следователя подсказала: тереховский дневник Ярослава Петруни. Я знал, что такой существует. Под тетрадью — книга, с которой Ярослав в последние месяцы не разлучался: "Нравственные письма к Луцилию" Сенеки. Меж страницами — несколько закладок. Я раскрыл книгу на закладке и прочел подчеркнутые фломастером строки: "...А кто должен возвратиться, тот должен уйти спокойно. Вглядись в круговорот вещей, которые спешат к прошедшему: ты увидишь, что в этом мире ничто не уничтожается, но лишь заходит и снова восходит..." Это из письма тридцать седьмого. А в письме сорок втором подчеркнута лишь одна фраза: "Кто сберег себя, тот ничего не потерял, но многим ли удается сберечь себя?" В письме семьдесят втором восклицательным знаком выделена фраза: "Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится — можешь возвратиться туда, откуда пришел". Немного ниже характерным нервным почерком Ярослава написано: "Смерти нет — есть возвращение! К самому себе! И все сначала — но уже иначе! От скирды, у которой пас свиней, зачитывался книгами и мечтал о будущем..." Я отложил томик Сенеки, просмотрю в свободное время. Сейчас меня больше интересовал дневник: возможно, он прольет свет на загадочное исчезновение Петруни.

Признаться, руки у меня дрожали, когда развернул тетрадь. Лишь дневники мертвых мы читаем без угрызений совести. Я удобнее уселся в кресле и закурил. На первой странице было начертано: "Я пишу большими буквами, если со мною что-то случится, передайте этот дневник Олесе Алексеевне Несвит. Адрес: город Мрин, ул. Сосновая, 9". Я мысленно пообещал, что так и сделаю. Очередная страница начиналась весьма традиционной для молодого человека фразой:

"Завтра мне исполнится двадцать. Пойдет третий десяток. Уже — третий. Передо мной на столе — тринадцать томов Владимира Маяковского. Читаю до одури. Плачу и смеюсь. Ору от восторга. Не сошел ли я с ума? Возможно. В этом мире каждый по-своему сходит с ума. Кто-то бредит изысканным костюмом, кто-то — мотоциклом с коляской. Моя единственная страсть — литература. Рассказать людям, что видел, что знаю. Живу с героями своих будущих сочинений, с ними засыпаю, с ними просыпаюсь утром. Прошло три года моей самостоятельной жизни после школы. Я достиг: 1) признания как журналист; 2) познал жизнь и познал себя, хотя то и другое еще не полностью; 3) научился писать, хотя еще очень несовершенно. Но самое главное для меня — Олеся. Моя Олеся… Хочешь, наклоню для тебя небо, солнце новое зажгу?! Все достигнутое — для нее. Олеся, если тебе когда-нибудь придется читать эти строки, поверь в мою искренность: вся моя жизнь — для тебя. Я не верю в возможность нашего счастья. Счастья, которое придумывают для себя люди. Помнишь, как любовались мы освещенными окнами, балконом, оплетенным виноградом. Наверное, такого у нас с тобой не будет. Я для уютной, упорядоченной жизни не создан, нет! "Жирненьким" и довольным собой я никогда не был и не буду, клянусь тебе в этом. Это — принцип. На всю мою жизнь. В ближайшие три года я должен: 1) научиться писать так, чтобы люди плакали над моими творениями; 2) написать повесть

"Судьбы" — о нашей с Олесей любви; 3) стать человеком — в моем понимании этого высокого слова. Последнее — самое главное, цель жизни, если хотите. Повесть начну писать этой же ночью, не чернилами, а кровью сердца. И — буду штурмовать бастионы наук. Возможно, со временем переведусь с заочного на стационар. Лучше жить впроголодь в Киеве, чем обрастать жиром и дремать в Тереховке.

Итак, сегодня мне — двадцать. Никто из коллектива редакции даже не поздравил. Обидно. Начинаю выполнять свою программу. Ни одной загубленной минуты. Я обязан, я должен всем им доказать, что способен на большее, чем они думают. Где сейчас моя Олеся? Тяжела для меня наша разлука! Начинаю повесть "Судьбы" описанием нашей первой встречи. Буду писать в этой тетради. В типографии взял свинцовые буковки, связал их проволокой и теперь делаю на полях тетради оттиски: "Судьбы".

"Сухим колючим снегом шелестят книжные страницы. Над столиками читального зала детской библиотеки — стриженые, чубатые, с разноцветными бантами головки, словно маслята в прошлогодней листве. Аэлита шлет на планету Земля последние, выстраданные слова. И вдруг за соседним столиком — бледное девичье личико, словно мечта. Юрко вздрагивает — неужели показалось? Аэлита подняла глаза: "Извините, пожалуйста". О чем это она? Ага, собирала свои книги и нечаянно толкнула Юрка. Книжка, которую он читал, — "Аэлита" Алексея Толстого — упала на пол. Накинула старенькое пальтишко с выцветшим цигейковым воротником, на голове закачались голубые волны бантиков..."

Продолжения повести в дневнике не было. Верно, дальше этих строк повесть не пошла. Зато, перевернув несколько страниц, я нашел начало новой повести молодого Ярослава Петруни: "Я иду в жизнь":

"Невысокому худощавому парнишке сегодня исполнилось восемнадцать. Тонкой кудрявой березке не меньше, но она деловито шепчется о чем-то с ветром и делает вид, что за важными сердечными делами ей не до парня. Юрко обижается, ложится на спину в густую траву. Небо глубокое, пустое, лишь на горизонте, словно яхты в море, застыли белоснежные облака. И друзья и надежды оставили Юрка. Лишь поэзия не изменила ему. И слово к слову рождается в сердце: "Мелькают, уходят в вагонном окне то степь, то зеленый лесок, мы мчимся вперед, и все кажется мне, что мимо летят не столбы… не столбы… а дней неудержный поток…"

А ветер все крепчал, тревожно гудел сосновый лес. Из-за горизонта сизым крылом надвигалась туча. Через мгновение по глади неширокой речки запрыгали первые дождевые капли. Юрко разделся и прыгнул с берега в воду. Он любил купаться в грозу. Рассекая вспученные ветром волны, плыл все дальше и дальше от берега. Вода приятно холодила разогретое на солнце тело. Юноша повернулся на спину, жадно ловил губами капли дождя. Слепящая белая пить, на миг соединившая две тучи, лопнула с оглушительным треском. Юрко чувствовал, как сердце полнится молодой силой, отвагой. И он крикнул во весь голос, перекрывая грохот грома и стон соснового леса: "Эй, ветер, выходи на поединок! Волны, остановитесь, громы, замолкните! Я иду в жизнь!.."

Ознакомление с процитированными образцами творчества раннего Петруни было для меня как для следователя очень полезным. Пускай стилистически еще несовершенные, отмеченные подражанием литературные упражнения молодого тереховского газетчика свидетельствовали и о самом авторе. Таким я и представлял его себе — романтиком, самоуверенным и эгоцентричным, но способным и на благородные поступки. И чем больше вчитывался я в страницы

дневника, тем понятнее становились метания нынешнего Ярослава Петруни. Детектив души. Есть такой жанр? Если нет, я ввожу его в литературу.

"Сегодня в республиканской газете — моя статья, критическая, о работе одного тереховского учреждения. Шум-гам будет большой. Уже приближается...

...Тучи над моей головой сгущаются.

Сегодня был в Копачеве и в мастерских ремонтно-технической станции. Встретил прекрасных, замечательных людей — в особенности копачевская трактористка. Почувствовал себя духовно богаче. Словно на чистый воздух выскочил из душного помещения. Весь вечер писал очерк о трактористке. Писал увлеченно.

...Вчера ничего не писал. Профсоюзное собрание. Один вопрос — моральное лицо Ярослава Петруни, осмелившегося покритиковать Тереховский район. Обдумываю сюжет повести.

...Душно, душно в Тереховке! Прочь отсюда! Хоть на край света! Однако работаю с семи утра до полуночи, не теряю зря ни минуты. Читаю, пишу, готовлюсь к сессии.

...Вчера впервые увидел, как плакали люди, читая мой рассказ, напечатанный в районной газете. Библиотекарша, вытирая слезы, сказала: "Ну, Ярослав, будет из тебя журналист!" "Не журналист, а писатель", — подумал я. Сегодня — удивительный вечер. Первый снег. Кругом синё-синё. Хочется написать что-то такое волнующее, лирическое, чтобы прелесть и радость сегодняшнего вечера передалась людям. Кстати, сегодня в областной газете моя статья — отчет о районной профсоюзной конференции, с критическими

выпадами. Коллеги, улавливающие настроение начальства, передали, будто бы в районном профсоюзном комитете спрашивали: "А кто такой Петруня, чтоб нас критиковать, какое у него на это право?" Снова все начнется сначала — собрание, персональное дело Петруни, воспитание, перевоспитание..."

Я спрятал дневник в свой "дипломат". Пусть никто не копается в душе Ярослава. Будущие биографы и без дневника придумают легенду о сельском хлопце, взлетевшем на литературный Парнас. Дневник будет мешать, на его страницах — слишком много боли. Я закурил и долго ходил по комнате из угла в угол, как и полагается следователю. Неправда, что все проходит, все забывается. След остается — на всю жизнь. Рубец. Человеческая душа — музей живых ран. И все они ноют, но есть защитные силы организма, оберегающие нас. Иначе бы мы платили жизнью за один миг прозрения. Рано или поздно, но такой миг наступает. Как вот сейчас у меня.

Стоп! Я выхожу из роли. Я — следователь Самута, а не Ярослав Петруня. Запрещенный композиционный прием. Я следователь. Настоящий следователь. Главное — убедить себя, что настоящий, а не придуманный Ярославом Петруней. Я — настоящий. Я уже забыл о своем столе в министерстве. Я расследую причины внезапного исчезновения Ярослава Петруни. Известного, талантливого и т. д.

Стучат в дверь — Иван Иванович привез Маргариту. Наконец. Я уже устал быть наедине с собой. Как писал один современный поэт: из подсознанья что-то вытекает... Не хочу, чтобы вытекало. Я — следователь.

Глава остросюжетная

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН

Я не знаток современной моды. Как и современных девиц. От жены впервые узнал, что сейчас модно ходить без лифчика. В нашем отделе работают пожилые женщины, очень серьезные, очень рассудительные, они не позволяют себе говорить ни о чем подобном на работе, да еще в присутствии мужчин. На улице я не ощупываю липким взглядом встречных представительниц слабого пола, в отличие от Ярослава Петруни. Возможно, нехватка темперамента. Три года я обхаживал свою будущую половину, пока решился предложить руку и сердце, Ярослав свою Ксеню — три дня… Конечно же я обременен заботами, не сравнить с Петруней, вечный галоп, утром — чтобы не опоздать на работу, вечером — чтобы не опоздать домой, и так всю жизнь, а Ярослав — сам себе голова. А вообще, если честно, я до сих пор краснею, когда в трамвае или в метро прижмет меня к незнакомой женщине. И когда фильм смотрю, заграничный, с откровенными сценами, тоже краснею. Я краснею даже на пляже, когда вижу девушек в бикини — кажется, так называются эти две полоски на бедрах и груди. А как я зарделся, как вспыхнул, когда, постучав к Ярославу утром, после премьеры, увидел сквозь проем дверей спальни Маргариту. Опершись на локоть, она курила в постели сигарету, а пепел стряхивала в коробочку из-под заграничных колготок, счастливая обладательница колготок на коробке демонстрировала обтянутые тонким капроном бедра…

И сегодня Маргарита полулежала в кресле, ноги длинные, загорелые, словно из слоновой кости выточены, и рука с сигаретой претенциозно отведена в сторону, и глаза — без тени стыда. И расстегнутая пуговица на платье…

Я заставил себя отвести взгляд, отошел к окну:

— Кстати, должен предупредить — сегодня я выполняю служебные обязанности, я следователь.

— Ну и что?

— А то что застегнитесь и сядьте пристойнее, перед вами все же мужчина.

— Так вы следователь или мужчина?

— Вы считаете, что одно с другим не может совмещаться?

— У меня нет опыта общения со следователями, но думаю, что, выполняя служебные обязанности, не обязательно заглядывать женщине под юбку…

Я приказал себе сохранять спокойствие.

— Откуда вы — такая?

— Какая?

— В постель к женатому, вдвое старше вас мужчине!..

— Когда я была в десятом классе, английский язык одно время преподавала студентка педагогического, практику проходила. У нее уже был ребенок, муж, тоже студент. Мы импонировали друг другу, и я всю зиму помогала ей нянчить ребенка. Я умею с детьми, у меня меньших сестер и братьев — трое. С мужем той студентки у нас вышел роман, вечерами мы часто оставались одни, и он меня, как это называется, соблазнил. А может, я его… Однажды все это раскрылось, скандал, а росла я в маленьком городке, стало известно и в

школе, и вот вызывает меня в кабинет сама директриса. Орала как бешеная: "В семнадцать лет ты опустилась до половых отношений с мужчиной!.." А я ей на это спокойно ответила: "Если бы я знала, что это так приятно, я опустилась бы до этого еще в четырнадцать..."

— Какой цинизм! — я театрально развел руками.

— Я трезво смотрю на половые отношения. Мне приятно, партнеру приятно, зачем же отказывать себе в том, что природа придумала на радость людям? Разве я что-то у кого-то ворую? Нет. Жизнь так коротка, а у женщины — сколько той жизни! Кто меня захочет через двадцать лет? Замуж, пока не закончу институт, не собираюсь, а я еще и не поступала. Так что же мне, монашкой жить до двадцати пяти лет? У меня есть парень, с которым я позволяю себе все. С Петруней — мне вовсе не хотелось. В театре я — на посылках. Вот послали устраивать в гостиницу драматурга. Еще когда он пьесу читать приезжал. Я старше себя мужчин не люблю. Но Петруня такой, что и камень уговорит...

Маргарита зажгла новую сигарету, закинула ногу на ногу, и снова подол ее короткого платья распахнулся, оголив ноги выше колен, до самых белых, в оранжевый цветочек, трусиков. Я закрыл глаза, достал блокнот, сделал вид, что ищу нужную мне запись. Возможно, нынче это звучит смешно, но я не любил ни одной женщины, кроме собственной жены. Оказывается, как это просто — нынче. Неужели и для моих двух дочерей (третий — сын) это будет просто и обыденно, не создаст никаких моральных проблем, а я, чудак, бегу от телевизора в нашу с женой комнату, когда на экране герои какого-нибудь французского или итальянского фильма целуются, мы-то у телевизора — всей семьей! Может, дочери хихикают мне вслед? И я живу, как вот сейчас, с закрытыми глазами?

— Не заметили ли вы что-нибудь необычное в поведении Ярослава Дмитриевича?

Глупый вопрос. Из уголовного детектива. Я — насквозь книжный. Придуманный. Я не любил себя в эти минуты.

— С ним что-нибудь случилось? — Маргарита погасила сигарету и взяла новую.

— Спрашиваю я.

— Странно, — она глубоко затянулась. — Я была уверена, что больше чем на истерику он не способен. В ту ночь он сорвался-таки с тормозов. Может, выпил лишнего. Но на банкете, и потом, со мной в номере, он пил лишь шампусик. Я пью только шампусик. Если шампусика нет, могу — стакан сухаря. Но не больше. Шампусика, правда, мы хлебнули хорошо. У него в номере было мускатное. А вы любите шампусик?

— Я не пью.

— Не пьют только плохие люди.

— Я болен. Камни в желчном пузыре.

Оправдывался. Перед кем? Пусть она оправдывается. Я — следователь. Хоть иногда забываю об этом и должен напоминать себе. Вести следствие по законам приключенческого жанра: причина истерии, о чем говорил, кому, кто слышал, кто свидетель? И никаких эмоций. Я олицетворяю закон. Я прибор для выяснения истины. Петруня говорил: я машина для производства книг, я автомат для писания, бросьте в меня копеечку — и получите страницу

чистой газированной прозы, впрочем, чистая газированная — колючая, резкая на вкус, Бермут такую недолюбливает, ему подавай с сиропчиком — малиновым, вишневым, апельсиновым, и я приспособился — с сиропчиком. Так говорил Ярослав Петруня, а я — следователь.

— Два года в театре уборщицей работала, только бы рядом с искусством, а ему судьба все на блюдечке поднесла, так он еще и не доволен. Ночь не давал мне спать, мелодрама, сцены раскаяния и прочее. Загубленный талант, пропащая жизнь, гений, которому не хватило характера реализоваться. Проклинал себя, машины, дачи, а утром чуть не целовал свою антрацитовую "Волгу". Какие вы, мужики, чудные. Как дети. И непостоянные. И в любви, и в жизни.

Я не слушал Маргариту. Я смотрел на ее стройные агатовые ноги (другого слова не подберу, сквозь загар — чистый белый цвет, цвет дорогого женского белья, цвет простыней, цвет… — господи, как душно в номере!), и кровь закипала во мне, от духоты, от зависти к Петруне.

У меня не было сил сдерживаться, я не владел собой, я взял ее на руки, Маргариту, с оголенными агатовыми ногами и американской сигаретой в руке, и понес в спальню. "Подождите, погашу сигарету", — спокойно сказала она… А через минуту сидела на чугунном поручне балкона, придерживая двумя пальцами правой руки полы распахнутого внизу платья, левой заботливо приглаживала след от оторванной пуговицы. Под балконом (совсем близко, люкс, второй этаж) шумел, суетился город, мужчины на улице поднимали головы и с нескрываемым интересом разглядывали Маргариту.

— И что они так ко мне липнут? На улице подходят: "Разрешите, девушка, познакомиться, вы напоминаете мне

Брижит Бордо..." А глаза — уже в вырезе платья. "Вы что, знакомы с Брижит Бордо?" — спрашиваю. "Нет, видел в кино". "Ну и меня там ищите". А вообще за изнасилование — от семи до пятнадцати лет, сто семнадцатая статья, вы как следователь должны знать. Умойтесь холодной водой, это помогает, и идите к дежурной за иглой с ниткой, не могу же я в таком виде появиться на улице, общественность меня не поймет...

— Сто семидесятая статья... — прохрипел я.

Вот вам и рассудительный, исключительно положительный семьянин Самута! Сто семидесятая!.. В голове мутилось, комната слегка кружилась, и лишь залитый солнцем балкон и Маргарита на балконе, ее оголенные ноги — как два луча через порог — оставались неподвижными. Словно во сне, когда теряется логика слов, логика движений и вещей. Я стоял посреди комнаты как столб. В моем кабинете очень давно, когда я работал в мринской молодежной газете, редакция помещалась в старом домике, на краю пустыря, под окнами цвела сирень, а на пустыре мы играли в волейбол, называлось — в яме, теперь на том месте многоэтажный дом. Но это же не мое воспоминание, следователя Самуты, я никогда не работал в редакциях, в редакциях работал Ярослав Петруня, это воспоминание Ярослава Петруни, кто же я — на самом деле?! Ноги-лучи погасли, Маргарита отделилась от поручня и вошла в комнату. Она пробежала пальцами по уцелевшим пуговичкам и вдруг сняла с себя платье, легко, как косынку с головы, оставшись в белых в цветочек трусиках и таком же лифчике. Ни тени смущения или стыда не появилось на ее озабоченном, рассерженном лице:

— Что вы сделали с моим платьем? Как я выйду из номера? Завтра весь театр будет знать, что меня насиловали в гостинице. Где у вас утюг?

— Утюг в бытовой комнате, в конце коридора, в таком виде вам идти рискованно, а иголка с ниткой — в моем портфеле, старик Бермут предусмотрителен на все случаи жизни, в том числе — и на случай насилования юных девиц официальными лицами… — Движением фокусника Иван Иванович, да, это был он, извлек из портфеля пластмассовую коробочку с разноцветными нитками и иголкой, дорожный набор.

Не знаю, как Бермут оказался в номере, я не слышал, чтобы стукнула дверь или скрипнул паркет под ногами, — словно влетел через балкон. Маргарита невозмутимо пересекла гостиную, взяла нитки из рук Ивана Ивановича и села в кресло, вытянув ноги на полковра, — пришивать пуговицы. Держалась она так буднично, естественно, что мне стало неловко и я перестал пожирать глазами ее гибкое, загорелое тело, с белым пушком на животе, вокруг пупка.

— Значит, так, уважаемый. Что мы видим на данном этапе следствия? Бесследно исчез известный, заслуженный писатель, неизмеримая потеря для нашей национальной культуры и вообще, а в это время следователь Самута, вместо того чтобы сделать все для обнаружения пропавшего, в это самое время следователь Самута делает попытку изнасиловать чистую, как слеза, девушку, юное создание, многообещающую актрису Мринского областного театра, нашу надежду на культурном фронте и вообще… А падение ваше, товарищ Самута, началось с того момента, когда вы стали катить бочку на ветерана труда и заслуженного человека Ивана Ивановича Бермута. Бедная моя деточка, — Иван Иванович протянул руки к Маргарите, которая никак не реагировала на его монолог, молча пришивая пуговицу, — я не позволю тебя обижать. Одевайся, и мы немедленно обратимся к представителям власти. Многие за долгие годы моей жизни намеревались утопить Бермута, однако где они теперь, вы спросите, а Бермут живет!

— Я, конечно, могу заявить, что самозваный следователь…

— Я… я не самозванец! — истерично крикнул я, чувствуя, что, окончательно теряю контроль над своим разумом, и действительность становится гротескной. Прочтите начало романа!

— Я, конечно, могу заявить, что самозваный следователь пытался изнасиловать меня, — словно не слыша моих слов, продолжала Маргарита. — Если это необходимо для книги Ярослава Дмитриевича.

Иван Иванович, не выпуская портфеля, гоголем прошелся по комнате:

— Надо еще разобраться, как на роль следователя попал человек, которого родные писателя не без оснований подозревают в убийстве. Пуговицу, дорогуша, не пришивай, оторванная пуговица — вещественное доказательство…

Возможно, я бы ударил Бермута. Или боднул головой в обширный живот. Но в этот миг раздался звонок. Я кинулся к телефону. В трубке рыдала женщина, и наконец сквозь рыдания прослышался злой, визгливый голос Ксени:

— Вам захотелось славы Герострата, Самута? Зачем вы его убили?! Вы всегда завидовали его таланту!..

— Ксеня тронулась от горя, — молвил я, закрывая трубку ладонью. Бермут невозмутимо курил. Маргарита уже одевалась у зеркала.

— Я догадываюсь, почему вы молчите! — орала в трубку жена Петруни. Вы намереваетесь отобрать еще машину и

дачу. Но я не дам! Я не могу без дачи! Мне необходим свежий воздух. Я привыкла на выступления ездить в машине! Все это теперь — мое, мое, мое!..

Я положил трубку и бессильно опустился в кресло.

Бермут взял за руку Маргариту в измятом платье, без нижней пуговицы и повел к дверям. Дважды щелкнул замок — меня заперли.

Я — в западне.

Глава лирическая

ОЛЕСЯ

Любил я ее, любил по-настоящему! Платонически любил, как пишут в статьях на моральные темы. Духовно, как написали бы мои коллеги. Когда-то я уже пробовал изложить на бумаге историю моего первого и едва ли не единственно настоящего (Маргарита — побуждение тела, Олеся — побуждение души) чувства. Задумал светлую, оптимистическую повестушку о школьной любви — никаких общих проблем, зато какие возможности для тонкого психологического письма, немного сентиментального, как все воспоминания детства, немного романтичного. Однако дальше фальшиво-бодрой запевки дело не пошло. Писал я свою повесть на даче, первое дачное лето, и думал не про Олесю, а о том, где поставить гараж, а где — финскую баню. Проклинал собственную меркантильность, закрывал глаза, чтобы представить Олесю на первой парте десятого "А" класса, с голубыми лентами в косах и мудрыми, холодноватыми, за стеклами очков, глазами, а виделись новые чугунные ворота, приобретенные на Подоле, где сносили старые кварталы, и

камин, выложенный подольским же старинным кафелем, и дорожка от крыльца и до ворот из бетонных плит, и погреб с баром…

А теперь вот не пишу — кричу во все горло. Как сорок лет тому, появившись из материнского лона. Когда кричат — не думают, как кричать. Когда человеку больно, ему не до стилистических изысков. Голодный не просит деликатесов. Но — неспособен я уже писать о первой любви. Слова есть — чувств нет. Умерла душа. Думалось — она стожильная, душа. Как колхозная коняга. Вытянет. Думалось: бездонный колодец во мне. Сначала — земное, чтобы доказать всем, утвердиться, а потом — для вечности. Думалось, можно на двух стульях. На таланте как на возу: дернешь за вожжу — в одну сторону едешь, дернешь за другую — в иную. Думалось, что можно с душой как с телом: испачкаешься, примешь горячую ванну — снова чист, как новорожденный. Но оказывается, есть грязь, которая не отмывается. Есть богиня Муза, которая хочет, чтобы ей служили, и мстит тому, кто не желает служить ей, а хочет сделать богиню своей служанкой. Страшно мстит.

Пишу об Олесе, а вспоминаю Маргариту в люксе мринской гостиницы, на горячих простынях с черным гостиничным клеймом. До сих пор мне казалось, что женщины появляются на моем жизненном пути, чтобы подарить острое своей новизной удовольствие, — и бесследно исчезают. Но женщины уходили от меня не бесследно, кратковременные романы разъедали мою душу, как шашель дерево.

Олеся не простила меня и никогда не простит. Случайно узнав адрес (живет она теперь в Москве, двое детей, с мужем в разводе), я послал ей несколько открыток, думал — обрадуется: такая знаменитость отозвалась, известный, талантливый и т. д. Наверное, читала обо мне не раз и книги видела в магазинах, а может, завела отдельную полку для

книг Ярослава Петруни. Но Олеся не ответила ни на одну из открыток. И не позвонила, когда ехала через Киев к матери, во Мрин, где каждое лето отдыхает с детьми. А чего обижаться? Я Олесю не обманывал. Любил, пока любил. Да еще как любил!

Конечно, внешне было как у всех, обычная школьная влюбленность. Одевался я тогда в неизменный (единственный) лыжный костюм и фуфайку. Конечно, страдал. Комплекс неполноценности. Со мной учился сын директора областного театра. Разговаривая, он снисходительно улыбался и поводил носом, словно от меня несло свиньями и телятами, которых я пас в каникулы. Мои одноклассники в шевиотовых парах прохаживались с Олесей по школьным коридорам и глубокомысленно беседовали на литературные и философские темы. Я был самым маленьким в классе, и только последний пентюх не давал мне затрещин. Позже этот парень работал официантом в мринском ресторане, и я наслаждался, небрежно бросая через плечо: "Сдачи не надо..." Я сгорал от любви и ревности, ревновал Олесю к одноклассникам, к ребятам на катке, ко всему городу, в котором я все еще чувствовал себя деревенщиной. Олеся поступила в институт в Ленинграде — медалистка! — меня же ждала Тереховка. И в Тереховке я любил ее — еще горячее, ревнивее, потому что на расстоянии. Наконец через три года я отважился написать Олесе. С каким нетерпением я ждал ответа! Осенью поехал на мотоцикле в отдаленное село, начался дождь, я решил переночевать в сельсовете, позвонил в редакцию, а мне сказали, что есть письмо из Ленинграда. Завел мотоцикл и поплыл по раскисшей грунтовке, по канавам, полным воды, сквозь стену дождя. Не я ехал на мотоцикле — мотоцикл ехал на мне. До самой трассы. На мокром асфальтовом шоссе я выжимал до ста двадцати километров, едва не столкнулся на бешеной скорости со встречным автобусом — бог бережет влюбленных! — среди ночи примчался в редакцию, носился как сумасшедший с керосиновой лампой — электростанция уже не

работала — по редакционным комнатам, разыскивая письмо от Олеси, а письмо лежало на моем столе под стеклом.

Но и это банально. Как у всех. И даже то, что уже на следующее лето я целовался с Олесей в ее саду на Сосновой. Я был перспективным журналистом, был на коне, как говорили тогда в редакции областной газеты. От Олеси я возвращался ночью, топал по тридцать с лишним километров от Мрина до Тереховки, опаздывал на работу, редактор влепил мне в то лето двадцать два выговора, и каждый — с последним предупреждением. А потом Олеся уехала на занятия, и всю любовь как рукой сняло, будто какой-то волшебник, могущественнее предыдущего, снял с меня любовные чары, и я уже не ждал писем из Ленинграда, просматривал их небрежно и бросал в корзину.

Затем у меня с Олесей была одна-единственная встреча. Ранней весной. Она уже закончила институт и приехала в свой первый отпуск, а я работал в редакции областной молодежной газеты, и меня официально нарекли писателем — за несколько рассказов, напечатанных в журналах. Темный ноздреватый снег у заборов, лужи на тротуарах — запомнилось. Я не дал Олесе произнести и слова — говорил лишь о себе. О книге, которая должна вот-вот выйти, о книгах, которые напишу в недалеком будущем, о славе, которая меня ждет… И еще один мотив моего глухариного (ничего и никого не слышал, кроме себя) токования запомнился: полное самопожертвование во имя литературы, во имя человечества, ожидающего мои гениальные творения, не собираюсь ни жениться, ни тем более заводить детей, все это земное, временное; дети — короеды таланта, а если любовь — то с женщиной, способной на самоотречение во имя моего таланта, моего будущего, любовь без загсов, без оглядки на придуманные людьми мещанские преграды и условности… Уже сейчас, убеждал я Олесю, у меня нет времени для встреч с нею: работа над новой книгой,

издательство требует быстрее высылать рукопись, читатели ждут книг Ярослава Петруни, конференции, встречи с критиками, творческие командировки в жизнь, творческие контакты с коллегами, звонят с телевидения ежедневно, а я никак не выберу минуты, слава — вещь обременительная, ничего не оставляет для личной жизни.

Под этот мой самовлюбленный монолог миновали центр города, пожарную каланчу, рынок и очутились в уездном городке девятнадцатого века — узкие улочки, одноэтажные домики под красными черепичными крышами, на подоконниках — журавельник, который здесь именуют геранью, сады, уютные дворики с голубятнями, псами на цепях, выложенными из кирпича дорожками до деревянных, под узорчатыми жестяными абажурами, крылечек…

— Я ненавижу литературу, — сказала Олеся, выбравшись из потока моих словес, и толкнула низенькую калитку.

— Это в тебе говорит физик, технарь! — задиристо выкрикнул я.

— Человек во мне говорит! — Олеся зашла во двор, прикрыла за собой калитку, набросила крючок, все это спокойно, ничто не дрогнуло в лице, и глаза молчали за стеклами очков, и только голос не молчал, голос выдавал то, что она изо всех сил старалась спрятать в себе. — Ненавижу литературу и тех, кто в нее играет…

И пошла по дорожке из красного кирпича, не оглянувшись, не попрощавшись; каблучки ее стареньких резиновых ботиков глухо отозвались с деревянных ступенек крыльца, и дверь коридора закрылась. Олеся навсегда исчезла из моей жизни, потому что такой — двадцатидвухлетней, в сером

студенческом пальтишке, с длинными каштановыми волосами из-под серого беретика — я уже не встречу ее никогда.

Мне казалось — я выбрал литературу.

А я выбрал — себя…

Глава остросюжетная

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН

По воле Ярослава Петруни я вынужден лицедействовать в этом ненормальном романе, где все герои какие-то странные, а развитие сюжета невозможно предвидеть. На кой мне лишние переживания, стрессов в современном мире достаточно и без романов. По дороге с работы и на работу напереживаешься на целую дилогию: добираюсь двумя троллейбусами или автобусами и метро — и бока намнут, и нервы издергают. Как-то говорю жене: Петруня роман обо мне пишет, в историю попаду… Лишь бы во что другое не попал, отвечает она мне, пусть лучше твой Петруня побеспокоится, чтобы нашему сыну на вступительных экзаменах в институт культуры трояков не влепили. Он что — бог? Не нужно для этого быть богом, нужно к декану подойти, там его знают, сама читала, что выступал в институте, иначе срежут, хоть вызубри он все учебники наизусть. Ты, говорю жене, пессимистка, через черные очки на действительность смотришь. Не пессимистка, а реалистка, отвечает, не то что твой Петруня: всего нагреб — и деньги, и дачу, и машину, а по радио страстные речи произносит против обогащения, мещанства, за скромность. На чужой каравай рта не раскрывай, это снова я, а писатель и должен жить так, чтобы бытовые хлопоты не мешали думать о возвышенном. Талант, поучает она, дается природой писателю для людей, а не для

личного пользования. А ты много жертвуешь для людей, спрашиваю я ее, что от писателя требуешь? Мой талант — детей растить, жена отвечает, а ради детей — я всем жертвую. Разве с ней договоришься? Но отказываюсь быть марионеткой, я в руках Петруни, из его романа возвращаюсь в личную жизнь, к деткам своим и жене, к работе, привычной и любимой.

Как раз время давать деру. Потому что если приведет Бермут милицию, попаду в настоящий детективный роман, с прокурором и тюремной камерой. Взял из чемодана Петруни тереховский дневник и положил в свой "дипломат". Выполню волю Петруни — передам дневник Олесе.

Вышел на балкон. Осенний день клонился к вечеру, солнце казалось густым, тягучим. Прыгать высоковато, и народ толпится внизу. Скоро конец рабочего дня. Чертов Бермут, задал мороки. Я перегнулся через перила и очутился на балконе соседнего номера. Балконная дверь открыта. Женская одежда на кресле. В ванной плещется вода. Двух обвинений в посягательстве на женскую добродетель за один день многовато. Я быстро пересек комнату, вышел в коридор. В холле Бермут, наверное, поджидает милицию. Выбрался через ресторан. Моей машины около гостиницы не было. Да и не было ее никогда — Петруня выдумал для своего романа. Отец собрал было на "Запорожец" и мог бы купить без очереди в селе, но жена постановила гарнитур купить на эти деньги, еще к бабам, говорит, станешь ездить или разобьешься.

Я пересек бульвар — мимо почтамта, рынка, церкви — и оказался на улице, где когда-то жила Олеся. Я спешил сюда, как путник в пустыне спешит к оазису. Островок моей ранней весны. Конечно, я — никакой не Самута, а настоящий Ярослав Петруня. Это я шел по узким, в садах, улочкам, следя за Олесей чуть не каждый день, провожая ее из школы. Это мое

сердце выскакивало из груди, когда, уже работая в Тереховке, подходил к калитке и видел выложенную кирпичом дорожку и домик под красной крышей в глубине сада. Это я каждую ночь пешком шел из Мрина в Тереховку, когда Олеся приехала на каникулы.

Не было улочки, не было зеленого, с красными грибками крыш оазиса посреди современного квартала. Меж выкорчеванных деревьев торчали одноногие аисты-краны. К их металлическим клювам тянулись, вытягивая шею, корпуса новостроек. Вдоль бывшей улочки тянулся ров — глубокая зияющая рана, на дне рва чернели осмоленные трубы. Бульдозеры утюжили то, что осталось от прежних строений. Олесиного домика тоже не было — лишь куча черного, покрытого сажей кирпича да размокшие под осенними дождями холмики глины. Вот что остается от жилищ тех, кого мы любим в юности. И кого не любим. И кого ненавидим.

Посреди бывшего двора горел высокий костер. Пылали резные наличники, деревянные колонны, поддерживавшие когда-то крыши над крылечками, стволы яблонь, калитка, которую я когда-то отворял дрожащей рукой. Все горело. Ничто не вечно. Только память. Пока мы сами живы. А вместе с нами умрет и память. И ничего-ничего не будет. Словно никогда и не было. Неужто весь земной мир — кладбище? Кладбище чувств, симпатий, надежд, любви, ненависти. Все горит, все — пепел. А может, в этом и спасение? Ничего нет. Ни Олеси. Ни моего чувства к ней. Но ведь все было. И теперь плывет по быстрине времени в бездонное прошлое. Смешно бежать по берегу — не догонишь, не вернешь. Пусть уплывает туда, где я стою со школьным портфельчиком у мокрой ограды, под осенним дождем, и жадно смотрю на освещенные окна Олесиного домика в пустой надежде, что на белых занавесках появится ее тень. И мы с Олесей стоим под

яблоней, взявшись за руку — и первый поцелуй, о котором уже столько написано, что я не смогу прибавить ничего…

Я достал тереховский дневник и бросил в огонь. Съежилась обложка, потом вспыхнули зеленым пламенем страницы. Там, где по строчкам пробегал огонь, слова словно корчились от боли, кричали, но никто, кроме меня, не слышал.

Кучка пепла.

Вскоре и пепла не стало. Ветер развеял. По пустырю, где вырастет новый микрорайон и где кто-то другой будет любить кого-то…

Глава эмоциональная

ОТЧАЯНИЕ

Не так нужно, не так!

Господи, как это все претенциозно и бездарно! Запоздалое раскаяние, неудачная попытка вернуться в молодость, все начать сначала, — а от поезда своего отстал безнадежно, и не догнать, не остановить, не вернуть того, что навсегда потеряно, разменяно, продано. Ну а если представить, что этот мифический старец, живущий на небесах бог, судьба или просто совесть твоя — спросит: "Я наделил тебя, Петруня, талантом, как ты использовал мой дар, на что растратил?" Как проклятый вкалывал всю жизнь, отвечу, по-черному вкалывал, света не видел, все спешил, гнал строки, чтобы толще книги — вначале на холодильник и стиральную машину, на занавеси, кастрюли и пеленки, затем на гарнитур и ковры, потом на автомашину и дачу, потом на драгоценности для жены, чтобы не дешевле были, чем у жен моих коллег, а еще дороже, это

так приятно — удовлетворять капризы жены, ты бог, ты царь, цезарь, тот самый перс-набоб, считавший себя самым богатым в мире; потом, в конце жизни, гнал строки на мраморный памятник, чтоб высился на моей могиле, чтоб и там, на кладбище, я как бы выступал на шаг, на полшага из общей шеренги. А зачем жил? Для кого жил? Где все эти газеты, которые расхваливали тебя, где громкие комплиментарные слова? Где они — заработанные тобой деньги? Наследники делят не гонорары твои, а кровь, душу твою, разменянный на медяки минутных успехов талант твой, совесть твою делят…

Не так нужно, не так!..

Даже в этом отчаянном крике слово слову не доверяет и рвутся слова в разные стороны, потому что я уже и сам как следует не знаю, когда лицемерю, а когда кричу от настоящей боли. Я — актер, который всю жизнь на сцене, привык к чужим словам и чужим мыслям, а собственных мыслей страшится… Я…

Снова не то!

Я, я, я! — ненавижу свое словоблудие, и пальцы свои на авторучке японской, с золотым пером, и белый лист, и запах бумаги, и скрип золотого пера по ней.

Потому что не так нужно, не так!

А как — уже не знаю. А может, никогда и не знал.

Знал — но как это давно было! В другой жизни.

Нанизывать красивые, но пустые слова, эпитеты, метафоры, сравнения, выдумывать, высасывать из пальца

легкие сюжетики, чтобы быстрей напечататься и получить очередную порцию комплиментов от такого же, как и я сам, ловкача, — тошнит меня, тошнит…

Начать книгу сначала и описать всего один день, искренне, честно, — как ездил я во Мрин на спектакль.

Что чувствует муха, которая тонет в стакане с медом?!

Книга вторая

СПЕКТАКЛЬ

1

Проснулся в отличном настроении. За окном спальни торжественно синело небо. Ксеня, мягкая, теплая, сонно обняла, поцеловала в щеку.

— Любимый, ты не сердишься, что не еду с тобой во Мрин?

— Нет, дорогая, когда я сердился на тебя?

— Так мечтала побывать на премьере. Но эта неожиданная телеграмма… Разогрей мясо — в холодильнике. Я еще немножко подремлю, любимый.

Из Москвы прилетает подруга Ксени. А может, друг. У женщин ее возраста внезапно пробуждается аппетит к жизни. Первые дни бабьего лета. Предчувствие осени. Пусть побалуется — сколько ей осталось. Он давно уже не ревновал. Только бы и ему прощала маленькие грешки. Серьезного и сам себе не позволит. В наше время оставлять сорокалетнюю

жену, чтобы жениться на молодой, — неразумно. В наше время, когда столько возможностей для внебрачных связей.

Ксеню видели в кафе то с известным певцом, то с каким-то бородачом, врачом или поэтом… Ярослав относился к знакомым жены иронически-снисходительно. Однажды он и сам влип с очередной своей поклонницей. Вздумалось ей пообедать в ресторане. Пришлось вести, хотя он и опасался огласки. Но роман только начинался. В конце он бывал менее уступчивым. Дома предупредил, что приезжает переводчица — наверное, придется с ней поужинать. Обеспечил тылы, на всякий случай, если кто из знакомых увидит и доложит Ксене. Выбрал ресторан на окраине. Мол, там подают оригинальные чешские блюда. Но только переступил порог ресторана, увидел жену и бородача. Ксеня сделала радостное лицо и позвала их к своему столику. Вчетвером они неплохо провели вечер. Бородач и Ярослав беседовали о литературе, женщины — о модах и актерах. Сидели допоздна, потом взяли такси и развезли по домам бородача и поклонницу таланта Ярослава. Когда остались в машине одни, Ксеня разыграла сцену ревности, Ярослав то оборонялся, то наступал — и все закончилось горячими объятиями в постели. Ярослав придерживался мнения, что внебрачные связи укрепляют семью, хоть в писаниях своих яростно осуждал легкомыслие. Конечно, свободные семейные отношения требуют от супругов некоторого артистизма, обоюдной игры.

— Счастливого пути, любимый…

— Спасибо, дорогая, после премьеры я позвоню.

Когда вставал, одеяло откинулось, обнажив пышную розовость Ксениного тела, она заметно располнела за последние годы, хоть и устраивает время от времени разгрузочные авралы и морит себя фруктовыми диетами.

Ярослав вспомнил стройное тело Маргариты на мринском пляже, месяц назад, когда ездил на репетицию. Почти голая — в бикини, полосочка на груди и узкий треугольник — вокруг бедер, великолепные длинные ноги — отсюда до Таймыра, как писал поэт, — светлый пушок на загорелом животе, вокруг пупка… Поспешно прикрыл дверь спальни, чтобы не растревожить Ксеню, вдруг передумает — и поедет с ним на премьеру. Семейная идиллия минус Маргарита. А что за премьера без Маргариты? Вся привлекательность сегодняшнего праздника, или почти вся, — в Маргарите. Женщины — витамины жизни. Цветы жизни. Стимул жизни. Но пришлось вернуться в спальню — за бритвой. Бритва немецкая, знаменитой фирмы "Браун". Ксеня приоткрыла глаза, хотя он крался на цыпочках:

— Не увлекайся артисточками, любимый. Ты ведь знаешь, у тебя нет вкуса.

— Я буду советоваться с тобой, дорогая, по телефону.

— Звони, любимый. В этих вопросах законная жена — лучший советчик. Не забывай, что в твоем гареме я — старшая жена.

— Когда я вижу тебя в кафе с бородачом, мне тоже кажется, что живу в эпоху полигамии.

— Проси прощения, любимый.

Не отрывая головы от подушки, Ксеня вынула из-под одеяла руку. Изогнутая в кисти рука с длинными крашеными ногтями висела над постелью как вопросительный знак — на всю страницу. Школьное воспоминание о невыполненном

домашнем задании. Ощущение вины. Ярослав поцеловал трижды — ладонь и каждый пальчик — отдельно.

— Прощаю, любимый…

Искусство писать. Искусство жить. Когда и сам уже не знаешь, где правда, а где — игра. Вышел на балкон, заросший виноградом, перегнулся через перила: машина стояла. С вечера оставил ее во дворе, чтобы не спешить спозаранку в гараж. Его черная "Волга" со счастливым номером. Первая его "Волга" была голубой. Тогда не приходилось выбирать — какая попалась. А в этот раз показал директору магазина красную книжечку: известный писатель хочет антрацитовую "Волгу"… Под цвет машины добыл вельветовый костюм. Костюм тоже требовал некоторых отклонений от правил общепринятой морали, зато какой вельвет! Японский. Белоснежная сорочка и американский галстук. Из антрацитовой "Волги" — в вельветовой паре. Хорошо, что он в свое время не отказался от "Волги". От той первой, голубой. Позвонили поздно вечером: есть "Волга", надо немедленно забирать. А у Ярослава был "Запорожец". Славная машинка, хоть и не престижная. Он полночи колебался — и не устоял перед искушением. И хорошо, что не устоял. Назанимал, правда, у кого только мог, пришлось потом много писать, и быстро писать, чтобы выкарабкаться из долгов, но разве он когда-нибудь боялся работы? Наоборот, заметил: пишется легче, когда поджимает с деньгами. Материальный стимул — что здесь плохого?! И усиливается самоконтроль — никаких недоразумений с издателями. Вроде автопилот включается. Пишешь профессионально, современно, остроумно и не переступаешь границы, за которой следует отстаивать написанное. Смешно в наше время кидаться на амбразуры, как некоторые из его коллег, и строить из себя верховных судей. Проблемы в обществе были и будут, пишет о них Ярослав Петруня или нет. Роль Дон Кихота не популярна. Литература ничего не решает.

Разве что пощекотать скучающего обывателя — и на это класть свою — единственную! — жизнь?! Художественная книга — даже не фельетон, после которого в газете появляется для успокоения читателей "По следам наших выступлений". Книгу сегодня прочтут, завтра — забудут. Потому что на полках появятся новые печатные откровения. Каждые сутки в мире появляется около двух тысяч новых книг. В год — свыше семисот тысяч! И твоя книга всего лишь капля в этом бумажном море — наивно и смешно думать, что ты можешь что-то изменить. И брать на себя ответственность — смешно. Чувствовать себя обязанным. Перед кем? Он ни перед кем ни в чем не провинился. Живет, как живется. Как все. Зачем же от него требовать больше, чем от других? Он свое отгоревал. В детстве. Должна же быть в мире высшая справедливость. Каждому — по горсти горя, по две горсти — радостей. Теперь он везучий, теперь он — удачливый, потому что свою чашу горя выхлебал давно. Все прекрасно. Он едет на премьеру своей первой пьесы. Во Мрин, где его помнят мальчишкой в телогрейке. Теперь он приедет на собственной "Волге", в японском вельвете. По ступеням театра ему навстречу сбежит Маргарита. Вдвое моложе его. Удивительно похожая на Маргариту, с которой он учился в школе и которая его отвергла. Считай, что она передумала и теперь вернулась. Через два десятка лет. Он — победил. Он оседлал коня. Оседлал судьбу. С годами его женщины молодеют.

Все чудесно, все как и мечталось в сиротские детские годы.

В комнате сына, как всегда по утрам, гремела музыка. Современные ритмы — коллекция пластинок и магнитофонных лент. Не без отцовской, конечно, помощи: новые джинсы и новые пластинки. Сам Ярослав в новейшей музыке не разбирался, но сын — модный парень, не отстает от времени. Типичный городской парень. Во всем остальном — выше

стандарта. Учится в десятом классе, а уже академик — пока что детской академии. Прирожденный физик. Не каждому отцу так повезет с сыном. И читает много. Кроме, правда, книг отца. А почему сын должен читать его книги? Комплексы, легко понять. Всю жизнь быть сыном Ярослава Петруни… Лучше, как старший Петруня, — начинать с нуля. Самому торить себе дорогу. И не быть никому обязанным. Одно время Ярослав дарил Оресту первые экземпляры книг с проникновенными автографами, просил Ксеню повлиять на сына. Случайно услышал их разговор, на даче. На упреки матери Орест спокойно ответил, что книги, написанные отцом, его ничем не обогащают, не будят мысль и совесть, не содержат никакой информации и он не может тратить на них свое время, жизнь человеческая (что он знает про жизнь?!) коротка. "Даже если они тебе неинтересны, ты мог бы прочесть по обязанности, книги отца нас кормят". Это Ксеня. Орест: "Я не могу заставить себя, когда не читано столько мировых шедевров, читать длиннющие перепевы классиков прошлого века о солнечных восходах над Днепром, филологические упражнения вокруг фольклора, записанного в том же девятнадцатом столетии, а из нового — изложение баек из "Перца" и последних страниц "Литературной газеты"…" Рецензия беспощадная. Из уст молодого поколения. Ярослава уязвляла неблагодарность сына. Для кого он старается, гонит листаж как на конвейере? Ксеня училась в консерватории, Орест маленьким часто болел, надо было нанимать няньку и ежегодно на два-три месяца возить к морю, и потом все эти джинсики, батнички, а сколько еще к джинсикам… Ксеня приблизительно так ему и сказала. Орест возразил, что настоящий художник даже ради семьи, ради детей никогда не поступится принципами, настоящий художник и у постели умирающего ребенка остается художником — сослался на рассказ Михаила Коцюбинского "Цвет яблони". А тем более художник, который на словах отстаивает высшие идеалы. "Почему — на словах?" —

возмутилась Ксеня. "Уважаемое семейство! — крикнул я с балкона, где нежился на утреннем солнышке. — Случайно услышал вашу дискуссию и скажу вам вот что, можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Гением себя я никогда не считал. Кстати, как и каждый настоящий гений… Таковыми почитают себя графоманы. В меру своих сил и способностей я работаю писателем. Однако должен вам напомнить, что в истории литературы остались те писатели, в которых ощущали потребность их современники, писатели, которые много печатались и не стыдились иметь доход от литературы, у нас — социализм, деньги еще никто не отменял, а засушенные мумии, считающие себя великими, мумиями и остались, никому не нужными, потому что грядущие поколения так же, как и мы, будут жить полнокровной жизнью, а не ловить на страницах книг принципы и удачные художественные образы, как дети бабочек…"

Сын не спорил, отмалчивался, оставаясь при своем мнении. И семейная дискуссия, которая могла бы перерасти в серьезный конфликт, дай Ярослав волю своим эмоциям, окончилась мирно и весело. Они поехали в соседний городок, купили электрическую газонокосилку, дурачась, испробовали ее на даче, косилка не работала, пришлось отвозить ее обратно в хозяйственный магазин, с директором которого Ярослав поддерживал знакомство на всякий случай, вдруг пригодится. На книжной полке в кабинете директора рядом с дипломами за образцовое обслуживание трудящихся стояли книги Ярослава Петруни с автографами автора. Ярослав показал глазами сыну на книги — чтут отца! — и постарался забыть слова Ореста.

Разогрел мясо, заварил чай. Завтракали с сыном. Орест жевал, глаза — в томике научной фантастики, фантастику позволял себе за едой, еще перед сном, в постели, очень серьезный у него сын. Ярослав просматривал за завтраком

рукопись статьи Бермута о премьере, которая состоится сегодня. Бермут написал три варианта для разных изданий, и все три придется переделывать. Вяло, бездарно и неграмотно. Петруню предупреждал драматург, который когда-то тоже прибегал к услугам Бермута: "Статьи придется самому о себе писать, писака из него никудышный, а вот организатор — блестящий, премьера будет иметь широкий резонанс..." Придется засесть в гостинице и пройтись перышком. Если бы с ними завтракала Ксеня, она читала б детектив. Это стало у них привычкой — читать за обеденным столом. Три индивидуальности, каждая сама по себе. Да и о чем говорить, обо всем уже переговорено. Дружная семья. Обеспеченная семья. Устоявшийся быт. Домработница. Трижды в неделю. Ярослав подсчитал: домработница стоит пятьдесят страниц его прозы — ежемесячно. Зато удобно. Для Ксени. Больше времени может посвятить общественной деятельности — строительству гаража, она председатель кооператива, прорезался административный талант.

— Забудь на сегодня о школе, Орест, и махнем вместе во Мрин, на мой спектакль! — вырвалось внезапно. — Все равно золотую медаль отхватишь, ты такой положительный, таких мы в углу школьного коридора, где свои телогрейки вешали, втихаря тузили... — Просительные нотки звучали потаенно, заметил их, засмеялся: — Чтобы молодые артисточки меня там не защекотали...

Сын оторвал от книги удивленные холодные глаза:

— Разве ты забыл, папа, у меня сегодня заседание секции в академии, а я как-никак заведующий...

— Правда, забыл, извините, маэстро.

И ладненько. Все чудесно. Все складывается в пользу коротенького романчика с Маргаритой. Чтобы раз-два — и развязка. Растягивать нет смысла. Жизнь нельзя не любить, если ты еще здоров и ждет тебя прекрасная Маргарита. Плюс благодарное уважение земляков. Бермут звонил вчера вечером, хвастал: такую рекламу организовал! Впрочем, его и без рекламы во Мрине знают. Вы слышали, на премьеру своей пьесы приезжает Ярослав Петруня! Тот Ярослав Петруня, которого вывели из первомайской колонны, когда колонна школьников выходила уже на центральную мринскую площадь: он был в стареньком поношенном пиджачке и серой рубашке, а все школьники — в белых рубашках и красных галстуках, показательная школа, портил общую картину, сразу видно — из Пакуля… Ты жив еще, школьный бюрократ, будешь ли сегодня в театре, узнаешь ли мальчика, которого когда-то выдернул из праздничной колонны, куда его поставила тетка, и ранил на всю жизнь, вспомнишь ли мою детскую слезу, жгучую слезу?..

Но это уже — лирика. Жизнь все поставила на свои места. Теперь — все чудесно. Плюс Маргарита: квартальная премия… Прогресс, как теперь говорят.

Телефон. Кто бы это мог? — так рано, восьми еще нет…

— Что поделывает классик? Нежится с супругой в постели? Утро "укрепления семьи"?

Наталья, подруга Ксени. Вместе учились в консерватории. На последнем курсе вышла замуж за престарелого архитектора, бездетного вдовца. Квартира. Машина. Дача. Теперь разошлась и все начинает сначала. Встретилась с молодым человеком, носит теперь одежду спортивного стиля. Привела к нам на смотрины, Ксеня считается практичной, мудрой в житейских вопросах женщиной. Мóлодец весь вечер

просидел молча и, лишь когда речь зашла о футболе, проявил блестящую эрудицию. Петруня спортсменов недолюбливал. Благодушный, ироничный старичок архитектор в роли Натальиного мужа был ему куда симпатичнее. Ревность. Стареющего мужчины к мужчине молодому. Старик архитектор, наверное, догадывался о них с Натальей, об одной их ночи, потому что после этого избегал его, а при встречах на улице жалобно улыбался и спешил прочь.

— Классик собирается ехать во Мрин, на премьеру спектакля по своей гениальной пьесе. Поехали, Наталочка, а? Проведем отличный вечер, вспомним молодость…

Сын вновь закрылся в комнате, наполненной музыкой, Ксеня спала.

— А вдруг я соглашусь?

— Прыгал бы от счастья. Честно.

— Ты так мастерски иногда играешь, что даже сам себе начинаешь верить.

— Наталочка, поехали. Банкет, люкс в гостинице. А мне так одиноко будет там.

— Ты уже никогда не будешь одиноким, Ярославчик. Ты уже не сможешь быть одиноким. Одиночество — это особое состояние души, требующее тяжелой внутренней работы. А ты привык к легкости. Во всем. В отношениях с людьми, в отношениях с самим собой. Ты счастливчик, Ярослав. Бог тебя любит.

— Никак ты вступила в секту баптистов?

— Нет, я читаю новый роман Ярослава Петруни.

— Надеюсь, книжка тебе нравится больше, чем ее автор?

— Слушай, писатель, как это тебе удается — иметь две морали, одну — для героев своих книг, другую — для себя? Ты как шут, меняешь маски, а я, дура, ищу твое истинное, настоящее лицо и не могу найти…

Запрещенный прием. Удар ниже пояса. Чего это она завелась? Ярослав помолчал:

— Так едешь или нет? Минута на размышление.

— Уезжаю на гастроли, классик. Я теперь почти самостоятельная женщина и должна сама зарабатывать на гараж. Где твой председатель гаражного кооператива?

— Они еще почивают. Но для тебя — разбужу.

— Это в ее интересах. Не знаю, правда, в твоих ли. Кстати, тот, к кому ты меня ревнуешь, вовсе не спортсмен, а работник торговли.

— К сожалению, Наталочка, я уже давно разучился ревновать. Но в жизни так мало по-настоящему счастливых мгновений. Им никогда нельзя изменять…

— Зови Ксеню, не то — расплачусь…

Он положил на стол трубку и пошел будить Ксеню. Наталья права. Он слишком уж входит в роль. А если бы Наталья вдруг

согласилась ехать во Мрин? Есть минуты, которые уже никогда в жизни не повторяются.

…Начиналось лето; пахли травы на лугах; дурманили голову сладкие ароматы цветущих акаций; Наталья гостила у них на даче, старик архитектор был в заграничной командировке; от Натальи пахло зрелой, неутоленной женщиной; запах этот преследовал Ярослава, запах — пронзительнее, чем ароматы пионов и дурманящий дух акации; за два дня гостья замучила Ксеню неутомимой болтовней, и Ксеня обрадовалась, что Наталья наконец уезжает, пусть с Ярославом, которому надо в Киев; выехали под вечер; в боковом зеркальце Ярослав видел свой дачный домик в виноградном венке, Ксеню в красном японском кимоно на белом балконе, возле Ксени — Орест в кресле-качалке, с книгой, все это отдалялось, мельчало, пока совсем не исчезло за зеленой стеной леса; а в машине дурманяще пахло женщиной, и пальцы Ярослава дрожали на баранке; ехали через лес, Ярослав свернул на просеку и остановил машину; он взял Наталью за руку — электрический заряд высокого напряжения, короткое замыкание, вспышка, и она покорно вышла из машины; в нагретом за день лесу пахло хвоей, живица пахла как вино в винных подвалах, но надо всем этим немо звучал зов женщины, вызревшей для любви; он овладел ею недалеко от машины, на теплой хвое, под соснами, Наталья почти не противилась, у каждой женщины, наверное, случаются минуты, когда у нее нет сил сопротивляться, и Ярослав такой минутой воспользовался; потом молча ехали до самого Киева, и уже под самым городом попали в грозу, ливень, какие бывают в начале лета, вода катилась по улицам навстречу машине девятым валом, едва доплыли до Печерска, где Наталья тогда жила, и ничего не оставалось, как поставить машину во дворе и забежать к ней на чашку кофе; вместо кофе они упали на кровать и любили друг друга до полуночи, под грохот за окнами, Ярослав еще был молодым,

жадным, Наталья трепетала как земля под грозовой тучей, прижималась к Ярославу в истоме своим горячим телом и сладко стонала: "О, я до сих пор не знала, что такое любовь!" А утром не позвонила, как договорились, и не отвечала на звонки, и не появлялась у них целый год. А когда на следующее лето снова приехала со стариком архитектором к ним на дачу, была молчалива, строга и неприступна, и так до сего времени; потом в жизни Ярослава было много женщин, но та грозовая ночь запомнилась, воспоминание волновало и поныне, потому что в той ночи, в отличие от множества похожих, было что-то истинное, когда он по-настоящему хотел женщину, а женщина хотела его; воспоминание это было как дуновение свежего воздуха в прокуренной, задымленной комнате; а что ему еще вспоминать?!

Ксеня шла к телефону медленно, полусонная, но, услышав Натальин голос, ожила. Эти две женщины держали на своих плечах гаражный кооператив "Эдельвейс". Название кооператива придумал Ярослав. Когда-то именем этого полулегендарного цветка называл Ксеню, родившуюся в Карпатах. Наталье после развода и раздела имущества досталась только машина; гараж, находившийся во дворе дома, остался за архитектором, ветераном и пенсионером. У Петруни был гараж во дворе чужого дома, Ярослав купил его еще тогда, когда обзавелся "Запорожцем", сумел оформить, что тоже стоило сил и нервов. Но теперь гараж сносили вместе с домом. И Ксеня развернула бурную деятельность. Неужто это она — застенчивая голубоглазая гуцулочка, что пела для него всю ночь в лодке, посреди горного озера? Диву даешься, как она вписалась в городскую жизнь, что бы он делал без ее энергии и практичности? Выступала она, правда, все реже, теряла голос, на столичную сцену не приглашали, а слоняться по районным и сельским площадкам ради заработка не было необходимости, он зарабатывал достаточно.

— Слу-у-ушаю. Уже утро? Я еще с закрытыми глазами. Звонил? Почему же он мне не позвонил? Действительно, вчера мы вернулись поздно, были на банкете. Правда, хозяйка считала бутерброды с икрой и красной рыбкой. Ну ты же знаешь мою слабость — люблю посплетничать. Так что он хочет? Я же ему сказала: в кооперативе он будет, если возьмет на себя бетон. Как не может?! Он ведь договорился со своим однокурсником, директором бетонного завода. Мы не филантропическое общество, а гаражный кооператив. Достал дубленку? С этого и надо было начинать. Слышишь, Ярославчик, канадская дубленка, я о ней давно мечтаю. Конечно же берем! Берем, да, Ярославчик? Ну любименький мой, кивни головой. Пусть привозит, я буду дома. Лучше всего между двумя и тремя часами. Но как же теперь мы достанем бетон?

Он чувствовал себя изработавшейся лошадью, которая бредет в конюшню, но у самых ворот ее вдруг хлещут кнутом и снова загоняют в упряжку. Давно уже мучила его мысль о новой повести — крик души. Написать ее хотелось в полную силу, без спешки, без оглядки на критиков.

— Любимый, Наталочка спрашивает, сможем ли мы завтра заплатить за дубленку, две тысячи?

— Конечно, дорогая.

Спрашивает для порядка. Знает, что сможем. Привыкла, что деньги есть всегда. А нет — аванс в издательстве. Издательству нужны рукописи "на современную тематику". Серьезные, глубокие произведения — удел других писателей. Петруня откликается "на современность" немедленно. Легко, профессионально… Повесть — настоящую, для души — придется отложить на потом. Чтобы ее написать, надо чернила разбавить собственной кровью. Да и неизвестно еще, как

примут в издательстве. Возможно, придется убеждать, отстаивать. Ксеня от канадской дубленки не отступится. Даже если дубленка окажется узкой. Ксеня похудеет: слава диете. Написать что-нибудь веселенькое — про собственное детство. Для детского издательства. Веселого в его детстве почти не было, но фантазия писателя — всесильна. Фантастическая литература — о послевоенном Пакуле… Можно сразу требовать аванс. Под тему. А повестушку потом, когда-нибудь. Все прекрасно. Семейный бюджет. Сберкнижка — словно колодец, который не высыхает. Он настоящий мужчина. Мужчина ценится по тому, как он обеспечивает семью. Первейшая обязанность. Правда, и сам уже привык иметь свободные деньги. Сладкое чувство — доставать деньги из кармана, не имеющего дна. Компенсация за безденежье в детстве. Как плакал он под дверью клуба, когда приехал кукольный театр, а десяти копеек на билет не было. Как мечтал о лыжах. О коньках. О портфеле. О конфете. О булочке. Хватит. Запретить себе воспоминания. Лишние стрессы. Все прекрасно. А детство — черный сон. Который никогда не повторится. Японский вельветовый костюм ему к лицу. И розовый батник под костюм. Итальянский кожаный плащ. Кожаную кепочку, это молодит. В зеркало — словно Нарцисс в речную гладь. Взять "дипломат" и поцеловать Ксеню в щечку. Не отрываясь от телефона, Ксеня ответила воздушным поцелуем. Все прекрасно.

— Подбросишь меня к школе?

— Конечно, — ответил сдержанно, чтобы не выказать радости: хоть до школы проедет с сыном.

Чудесное утро. Приятно возбуждает. Хочется жить. Солнце золотило кузов автомашины. Журнал "Америка", небрежно брошенный на сиденье. Книги Ярослава Петруни. Для

работников автоинспекции. Пока разогревался мотор, сын листал журнал, откинувшись на спинку переднего сиденья.

— Па, выдай пять червонцев на американскую ракетку. Мама сделала мне теннисный корт.

— У меня денег — только на банкет.

Орест отложил журнал, насупился. Поскупился, уже сожалел Ярослав, а лишнего сын не попросит. Чем он хуже других, тех, у кого американская ракетка или итальянские вельветовые джинсы? Пусть наверстывает — за отца. Но отступать — непедагогично. Даст деньги завтра. Что ж, заработает и на ракетки. Еще одна страница. Еще пять страниц. Еще десять страниц. Отпечатанных на машинке. Югославской, изготовленной по западногерманской лицензии. Очень удачная конструкция. Никаких физических усилий — кажется, клавиши сами выстукивают. Когда-то подсчитал, сколько платят ему за одну страницу. С переводами, переизданиями. Весьма приличная сумма. Он еще здоров. За день может намолотить двадцать страниц. Писать профессионально — писать быстро. Краем глаза Ярослав наблюдал, как сын открывает на передней панели вещевое отделение. Жвачка, американские сигареты, валидол — гасит запах спиртного. В глубине шкатулки, за сигаретами, — коробочка с французскими духами. Духи Ярослав вез Маргарите. Надо было спрятать в "дипломат"!

— О, настоящие французские! Везешь артисточке, па? Не бойся, не скажу маме, хоть ты и пожалел для меня пять червонцев…

Петруня нащупал в кармане — он любил носить деньги без кошелька — полсотенную купюру и молча положил на колени сыну.

2

Он верит в магию слова. Главное — чаще повторять: все чудесно. И будет чудесно. Его жизнь — сбывшийся сон. Письмо из Тереховки, от бывшего учителя, ныне уже пенсионера, когда-то баловался стихами: "Часто вспоминаю вашу веру в будущее, уважаемый Ярослав Дмитриевич, размышляю о вашем удивительном взлете..." В юности снилось, что он ведет роскошную машину, дорога стелется под колеса, ощущение полета. Восемнадцатилетним юношей впервые приехал в Киев поступать в университет. Снимал угол на Крещатике и очень удивлялся, что в городских квартирах уборная — рядом с кухней. Тогда же впервые увидел поезд — на киевском вокзале. В восемнадцать лет — впервые! — поезд и теплую уборную...

А через каких-нибудь два десятка лет сидеть за рулем собственной "Волги" и мчать по шоссе, на обочине которого торчал с протянутой рукой, чтобы за рубль в кузове грузовика добраться до поворота на Тереховку. Надо быть благодарным судьбе. Ценить и радоваться достигнутому. Радоваться жизни. Это чудесно, управлять собственной роскошной машиной, покорно подчиняющейся твоей воле, наматывать на колеса асфальтовую ленту дороги и знать, что сегодня тебя ждет только самое приятное. Слава и — как почетная награда, как приз — Маргарита. Девятнадцатилетняя, с длинными, стройными ногами. Созданная для любви. А на обочинах — яркие всполохи георгин в палисадниках, и златохвостые петухи, и желтобокие яблоки в блестящих цинковых ведрах и эмалированных мисках, венок лука на клямке калитки — вспыхнул солнцем за окном машины и исчез, и уже не лук, а

поздние, темно-красные помидоры, словно нарисованы на последних воротах, у которых и предлагает себя автопокупателям. Осень — монисто из коротких ярких вспышек, нанизанных на серую нитку трассы, — побуждала к философским размышлениям. Все это такое преходящее — и солнечный сентябрьский день, и дорога, и георгины, яблоки и помидоры у дворов, по сторонам асфальтовой ленты, все это — мгновения по сравнению с вечностью, небытием, из которого появляемся и в которое возвращаемся после короткой жизни; так вспыхивают и гаснут искры над костром, в темном ночном небе. Ощутить каждый миг жизни, насладиться им, потешить душу и тело. Быть гурманом мгновения — ведь каким бы удачливым ты ни был, но и твои годы отмерены, судьбой или высшими силами. Сколько людей, старых и молодых, ушло уже на его памяти туда, откуда еще никто не возвращался. Это так просто — уйти и не вернуться, стоит чуть-чуть крутануть баранку в сторону, когда стрелка спидометра пересечет отметку "100". А в детстве казалось, что никто не отберет у тебя жизни, если уж она дана. Но наперекор жестокой реальности надо быть постоянно счастливым, пить по капле каждый миг и смаковать, наслаждаться им. У него талант дегустатора жизни. Держать баранку левой рукой, правой — достать из шкатулки американские сигареты и затянуться ароматным дымом, а навстречу мчатся зеленые поля и голубые небеса, желтоголовые осокори по бокам асфальтовой стрелы.

Это смолоду позволяешь себе быть недовольным жизнью: то не пишется, то не печатают, то не любят, сын растет эгоистом, а жена превращается в мещанку. На тридцать первом году жизни вдруг рецидив болезни молодости. В свое тридцатилетие он нанял повара в ресторане, стол хоть фиксируй на цветную пленку для пособия по кулинарии, они пригласили всех, с кем Ярослав начинал в литературе, не всех, конечно, а самых заметных; многие не пришли, отделались поздравительными телеграммами, но и пожаловавшие не

смогли выжать из себя тех высоких слов, на которые он втайне рассчитывал на правах юбиляра. И он, дурачок, страдал по-настоящему, помнит ту бессонную ночь после банкета. Один из гостей, известный критик, на подпитии нашвырял Петруне за ворот кучу шпилек и про талант, разменянный на медные гроши, и про дерево, которое гибнет, если не укоренится в земле, и о перспективе духовного самоотравления, и об опасности творческого истощения. Ксеня не сдержалась и выложила критику все, что о нем думала: действительно, наелся-напился и покатил на юбиляра бочку с дегтем, а сам-то он кто… Это сейчас умом понимаешь, что подвыпивший критик был честным парнем, а тогда — Ярослав ночь глаз не сомкнул, намеревался завтра же начинать новую жизнь, святая наивность, будто можно себя переделать за одну ночь, да и нужно ли переделывать — вот что главное. Под утро у него закололо в боку, на следующий день — температура и боль — словно кто ножом пырнул, потом — больница и страшные ночные боли, шатался по коридорам, от окна к окну, никакие болеутоляющие не помогали, а за окнами на освещенную фонарями мостовую сыпал серебристый, как на театральных декорациях, снежок, и шли по белым тротуарам счастливые люди, не зная, что они счастливы, потому что у них ничего не болит, потому что они не в больнице, они могут идти куда угодно, свободно и не думать о смерти. Измотанный болями, он давал клятву, если выздоровеет, ценить каждый миг жизни, простой, обыкновенной и прекрасной своей обыденностью, никогда не терзать себя укорами совести. Принципы, убеждения, творчество — все это ничего не стоит, все это игра в слова, интеллигентское самоедство, мираж. Существует одно-единственное, пока оно существует, — жизнь. А потом где-то там, далеко-далеко, на склоне лет, заснуть ночью и утром не проснуться. Или умереть внезапно подле прекрасной молодой женщины, есть такие счастливые смерти. Чтобы ни старческих болезней, ни старческого угасания, ни старческого покаяния — не доделал, не довел до конца. Жить — пока

жизнь дарит наслаждение, а потом разогнать "Волгу" до полтораста километров — и руль вбок…

Выписавшись из больницы, он поехал в санаторий. Врачи запретили на время писать. Сидел в кресле на балконе, любовался снежными вершинами гор, ни о чем не думал, лишь вслушивался в безмолвное течение времени, почти физически, кожей ощущал его движение. Он учился медленно ходить, заглядывал через заборы в палисадники, где расцветали первые тюльпаны и алыми язычками прорезались из земли пионы: "Жить бы в одном из этих уютных зеленых домиков, увитых виноградом, умываться во дворе из-под крана, ходить на службу, не требующую особых усилий, а после работы — ковыряться на грядках и пить чай на веранде, в кругу семьи, с детьми и толстой, располневшей у плиты женой, и больше ничего не нужно, ни славы, ни фантастических прожектов: переедут из Киева в один из таких провинциальных городков, Ксеня, конечно, обрадуется, это привычный мир ее детства, будет преподавать в местной школе музыку и пение; может быть, потом когда-нибудь он вернется к перу, напишет хорошую, искреннюю повесть из жизни скромных провинциалов. Он истратил немало денег на междугородный телефон, делясь своими фантазиями с Ксеней. Ксеня кричала в трубку, что он психически болен, иначе бы не нес подобную чепуху, никуда она из Киева не поедет, не бросит квартиру и сцену, чтобы лопать варенье из крыжовника в обществе местечковых обывателей, она сыта провинцией по горло и скорее разведется с ним, чем согласится на такое…

И Ярослав перестал звонить. Позже они никогда не вспоминали об этих телефонных баталиях. Увлечение мечтой о провинциальной идиллии проходило вместе с болезнью. Вскоре после возвращения из санатория он узнал, что продается дача — комфортабельная вилла, рядом — речка, лес.

В лесу он проходил воинскую службу. Школа младших командиров. Рядовой Ярослав Петруня. Рядовой — Петруня… В карауле. Тулуп до пят, тесак у пояса, ветер раскачивает вершины сосен, сыплет в лицо пригоршни снега, а ночь только начинается, и служба, служить еще — как медному котелку, три года впереди, вечность, а из репродуктора возле солдатского клуба — голос модного поэта, и отчаянная зависть, все отдал бы, и тело, и душу, три души, если бы вот так о тебе — из репродукторов, на всю республику, да если бы просто очутиться в мире, в котором живет поэт, — сказочным казался ему этот мир из солдатской казармы. Но не было желающих купить его душу. "Стой, кто идет?!" — "Разводящий сменой!" Тесная, пропахшая солдатскими портянками и кирзовыми сапогами караулка, солдатские шутки, нары, перловая каша из бидона, фехтование ложками над металлическими тарелками…

Теперь тот поэтишка, наверное, завидует Ярославу и сплетничает о Ярославе, о его машине, даче, о его любовницах, а тогда они были несравнимые величины. Теперь какой-нибудь начинающий из провинции, видя уверенное лицо Ярослава Петруни на экране, думает с завистью: вот он — достиг вершин…

И достиг!

А что?

Начинался Тереховский район. Бывший. Теперь все, что было в молодости, — бывшее. Дорога воспоминаний начиналась. Что ж, они необходимы время от времени, такие поездки, чтобы как следует оценить, чего достиг в жизни. Вот здесь он "голосовал". Двадцатиградусный мороз, ветер, куцее осеннее пальтишко, поверх — темно-синий плащик, юфтовые сапожки, галифе, кроличья шапка, районный газетчик. Шофер

полуторки взял в кабину, довез до МТС. В эмтээсовской аптеке работала девушка, в которую он был одно время влюблен, даже посвятил стишок: "Как мечта, твоя нежная песня убаюкает сердце мое..." Сентиментализм районного образца. А ведь тогда казалось — любит на всю жизнь. Стоп! Девушка из аптеки стояла возле горячей печки, в белом, натянутом на высокой груди свитере. Налила стопочку спирта, едва не задохнулся, никогда потом так сладко не пилось. Такая недотрога, и пошутить нельзя, а высокая грудь под белоснежным свитером сумасшедше влекла. Почему я до сих пор не написал о муках молодой неутоленной плоти?! Редакторов будет раздражать эта тема, потому и не написал. А летом юная аптекарша утонула, переплывая речку. Тело нашли через неделю. На похороны он не поехал.

Потом Ярослав гонял на редакционном мотоцикле, на трассе стрелка спидометра забегала за сто; а еще — цирковые номера на замерзших озерцах: разгонишь мотоцикл, резко тормознешь — мельницей по льду. Поздней осенью вез девушку — уже и забыл, как ее звали, ночью, с кустового семинара, трижды застревал, тащил мотоцикл на себе и откладывал поцелуи на потом, загадочные улыбки, загадочные обещания, на медленном огне горел, пока ехал, а у двора девушку ждал местный ухажер, и она сразу же прильнула к нему, местному волоките, от которого несло денатуратом. Тогда в селах пили денатурат, процеженный сквозь глину, глина осветляла, но запах оставался. Ярослав выглядел идиотом со своим дешевым романтизмом и нерешительностью. Круто развернулся и газанул с улочки, из села. На трассе едва не поцеловался с автобусом, так мчался. Как же ее звали? — Лида, Галя, Оля, Нина, какая разница. Теперь, наверное, толстая бабища — от сала и свежего воздуха — в тысячный раз рассказывает, в школе или на почте: "Я с писателем Петруней знакома, нравилась ему, он меня подвозил домой" — и едва прикрытое сожаление в голосе, что не позволила себе с

Петруней чего-то большего, что выбрала в мужья деревенского тюху, который ночью дышит в лицо самогоном, а трезвый — забывает о ее существовании…

Сколько их — Оль, Галок, Людок — жалеют теперь…

Одна писала на издательство: "Я горжусь тобой, Ярослав…" И попросила книжку с автографом. Чтобы показывать знакомым. Детям и внукам. На тереховской танцплощадке, в блестящей черной блузке, волосы перевязаны красной лентой, запах молодой травы из парка и запах пота от разгоряченных в танце молодых тел, дух дешевого одеколона. Он танцевать не умел, шаркал ногами, только бы был повод обнять ее. Отстранялась, брезгливо дула губки. Он уводил ее в сторонку, очень серьезно говорил о литературе, об ответственности журналиста, девица внимательно слушала, понимание в глазах, а домой провожали другие, более взрослые, кто отслужил армию, собирался жениться. Вскоре прилепился к ней плановик из райисполкома, много старше ее, солидный, готовился стать заместителем председателя, пришла в редакцию звать на свадьбу. "Ты еще пожалеешь, что променяла меня на чиновника", — пускал пузыри, на свадьбе упился и захлебывался отчаянием, представляя ее в объятиях другого. Года два назад была в Киеве, позвонила, предложила встретиться. Оставайся в моей памяти такой, какой была тогда, в тереховском парке, на танцплощадке, сказал в телефонную трубку. Он уехал из Тереховки лет двадцать тому, и тереховское время остановилось, как изображение на экране, когда лента перестает двигаться. Но вот он возвращается, включает кинопроектор, статичное изображение на экране ожило, жизнь продолжается…

Сворачивая на тереховский большак, описал полукруг. Словно циркулем в тетради. Полукруг. Круг. Символ жизни.

Тереховка — Мрин — Киев — Тереховка. За двадцать лет. По этой дороге он ехал на работу в редакцию семнадцатилетним пареньком, с фанерным чемоданом, который закрывался висячим замком. Обо всем этом он уже писал. Почти обо всем. Остроумно, романтично, сентиментально, стоит ли драматизировать жизнь, травмировать душу, она и так нелегкая, эта жизнь. Женщинам нравится, как он пишет: я плакала, я смеялась, я мечтаю с вами познакомиться. Настоящие читатели — женщины. Воспринимают мир эмоционально. Мужчины ищут в книге то, чего ищут в газете, — фельетон. Проблемная литература — анахронизм. Сегодня. Когда есть газеты и телевизор. Читайте в газетах разделы народного контроля. И последние восемь страниц "Литературной газеты". Чего они хотят от меня?! Почему я должен щекотать нервы обывателю? Великий Гёте всем умел угодить, а какая слава. В веках. Это мещане придумали, что художник — Прометей, которому орел клюет печень. Не хочу, чтобы мою печень клевали. Пока обыватель греется у огня, добытого мной. В истории достаточно жертв, не хочу в переполненный музей восковых фигур. Я — живой. И перед кем я провинился, что оправдываюсь?!

Все чудесно. Ярослав Петруня — певец жизни. Красоты жизни. А жизнь — вечна. И через тысячу лет люди будут любоваться восходом солнца и кострами в поле. А может, полей уже не будет, все застроят небоскребами, и лишь его рассказы разбудят воспоминания. Через тысячу лет — любимый писатель Ярослав Петруня. Певец жизни. Заголовок для юбилейной статьи. Тысячелетие со дня рождения. А пока что — заголовок для статьи Ивана Бермута. О Ярославе Петруне. Статьи Бермута, написанной Петруней. А что? Разве не было в истории великих писателей, которые сами себя превозносили до небес? Быть выше условностей. Не усложнять жизнь. Мораль — это условность. Мораль не для художника. Художник выше моральных догм. Маргарита — естественная

необходимость. Даже врачи советуют. Омоложение. Тела и души. Все чудесно. Через двадцать лет — в собственной "Волге", на дороге, где столько мерз в кузове полуторки. Тогда еще бегали полуторки. Люди за окнами автобусов "Мрин — Киев" — там где-то жизнь, вечный праздник, а он весь — в тереховских буднях. Киевская трасса — как прихожая столичного рая, который волнует, манит, так много сулит.

В Тереховке был субботник, сгребали сухой лист в парке, и пришла на субботник девчонка в зеленом пальтеце и зеленой шляпке с матерчатыми цветочками цвета весны, и сама как весна, какая банальная фраза, но что-то в ней было от ранней весны, светло-зеленое, семнадцать лет, приехала после техникума, кажется — в районный банк, призабылось, тени от безлистых еще деревьев на темной, вышитой молоденькой травой земле, и брошенные грабли, и обсаженная вербами дорога, по которой они вдвоем — Ярослав и девчонка в зеленом — шли к шоссе Киев — Мрин, голосовали на шоссе, чтобы уехать — куда? зачем? Комнатные птицы, которых весной тянет из клеток, и они бьются о проволочные сетки, а попутных машин не было, и автобусы шли переполненными, и они вернулись в Тереховку, снова пешком, под гудение пчел в кронах цветущих верб, и были какие-то разговоры с намеками на внезапную любовь с первого взгляда, от этих разговоров — и действительно от мальчишеской влюбленности — приятно шумело в голове, вскоре девчонка в зеленом пальтишке и зеленой шляпке уехала, и ничего между ними не было, но запомнились и девушка в зеленом, и поход с ней на шоссе, потому что это — молодость его…

Под козырьком автобусной остановки стояла девчонка. В зеленом плаще и зеленом беретике. Будто из прошлого. Даже дрогнуло что-то в груди. Екнуло сердце — написал бы поэт. Слова — они бессильны! Лишь контур расплывчатый того, что чувствуешь. Ярослав резко затормозил:

— Вам до Тереховки? Считайте, что повезло. Особенно — мне.

Девчонка глянула на дорогу, на часы и нерешительно покачала головой:

— Я подожду автобус.

— Неужто я похож на насильника или грабителя? — кокетливо глянул на себя в зеркало. — Присмотритесь ко мне внимательней. Весьма интеллигентное лицо, не правда ли? Киноактер или писатель. Если бы не седина в волосах, сошел бы за футболиста, но седых футболистов, наверное, не бывает. Обратите внимание на мои печальные где-то в глубине глаза. Отражение всемирной скорби. Очень действует на женщин. Вкупе, конечно, с внешним успехом. Кожаный итальянский плащ, японская пара, модная фуражечка плюс чуточку мировой скорби — как пряность к аппетитному блюду. Не удивляйтесь моему шутовству. Для меня эта дорога — дорога воспоминаний. Автобуса нет и сегодня не будет, предлагаю садиться, даже если вами владеет страх за свою невинность.

— Откуда вы знаете?

— Про что?

— Про автобус, — девушка густо покраснела.

— Я все знаю. Такая профессия. Садитесь? Я спешу.

Девчонка съежилась на заднем сиденье. Ладошка с тоненькими белыми пальчиками держалась за ручку дверцы.

— Не бойтесь, выпрыгивать на ходу не придется, я уже старый, спокойный мужчина. Это вас мама напугала разговорами о разных ужасах?..

— Понимаете, я была у тетки…

Вчерашняя школьница, он видел ее лицо в зеркальце, ничего особенного, налет провинциальности — в языке, одежде, манере держаться, словно налет пыли на крыльях машины, но так похожа на ту, из прошлой жизни. Впрочем, он только и помнил, что зеленое пальтишко и зеленую шляпку…

— Побежала рано на станцию, а наш автобус поломался, рейс отменили, я села на первый попавшийся, до поворота, а здесь вот уже час голосую, на работу опоздала, я работаю в швейной мастерской, а начальница строгая. Я вас, дядя, не боюсь, а только не знаю, потому что не наш вы, не тереховский, а люди разное болтают…

— Тереховский я. Писатель Ярослав Петруня. Работал в вашем селе, когда здесь район был.

— А разве в Тереховке был район?

— Простите, вам сколько лет?

— Ой, уже девятнадцать!

— Много… Вас еще на свете не было. Имеете право не знать.

Все чудесно, Ярослав. Все чудесно. Не вешай нос. Просто у тебя с этой зеленой девчонкой — разные системы отсчета времени. Она еще может быть твоей любовницей, впрочем,

нравственные табу, провинциальные догмы, ничего интересного, будет много слов, много слез и мало радости. А осчастливить ее ты можешь. Оставить Ксеню и пойти с этим зеленком в загс. Побежать вдогонку за молодостью. Здесь вот, посреди дороги, скажи, что влюбился с первого взгляда, намекни на гонорары, на роскошную квартиру, дачу — сама бросится на грудь. Ксеня Киев бы перевернула. Десятки писем в десятки инстанций. Как-то со зла сказала: пожируй, пока здоровье есть, пса нужно иногда спускать с цепи, но помни — я не из тех жен, которых оставляют…

— А про что же вы пишете?

— Про любовь.

— А, про любовь… неинтересно. Я смешное люблю читать. Про любовь в книжках правду не пишут. Такой любви, как в книжках, в жизни не бывает.

— А вы уже любили?

— Я и сейчас люблю.

— Кто же он, счастливец?

— Парень наш, тереховский.

— А кем работает?

— Трактористом.

— Нормы перевыполняет?..

— Конечно. — И снова — видел в зеркальце — покраснела.

— А я хотел вам назначить свидание.

— Такое скажете, дядя… — И прижалась ближе к дверцам.

Дорога была гладкая, асфальт. Двадцать лет назад он ездил по клинкерной, с выбоинами, руль мотоцикла вырывался из рук. Вербы у дороги помолодели, старые, наверное, спилили и посадили новые саженцы, но и они успели вырасти. А ему кажется, что все это было вчера. На повороте — дуплистая верба, середина выгорела, пацаны костер раскладывали. Не было уже вербы, и новой не посадили. Чтоб обзор не закрывала. Парень к ним в редакцию пришел, в последнее лето перед ликвидацией района. На подводной лодке служил, только что демобилизовался. Собирался на заочный поступать в Киев, как и Петруня; крутил любовь с тереховской дивчиной, студенткой. Ярослав четыре года на мотоцикле, по каким только дорогам — и ни одной царапины. А матросик впервые выехал — и вот здесь, на повороте, мотоцикл занесло в сторону, коляску повело, переднее колесо — о корень, матросик — головой об ствол — и в сознание не приходил… В конце лета девушка этого матроса целовалась уже с Ярославом под стогом пахучего сена. Один-единственный вечер. Зачем ему нужен был триумф над мертвым? Эгоизм молодости? Эгоизм жизни? На похоронах она была вся в черном. Очень красивая. А может, и она — с отчаяния? От страха перед смертью? Уехала на учебу — и больше уже не встречались. Возможно, стыдилась. А чего стыдиться? Живым — жить. Более удачливым, более счастливым. Ребенком играл с соседской девчонкой на печи, первое волнение тела и предчувствие тайны. Как рано это начинается. Умерла от скарлатины, а он — выжил. Судьба его берегла. Зачем? Что изменилось бы в мире, если бы он умер, а та соседская девочка осталась жить? Не было бы его пухлых романов.

Продают вместе с дефицитными изданиями — в виде нагрузки. Сырье для картонной фабрики — вот что такое его романы. Литература — макулатура. Черный юмор. Отставить. Все чудесно. Чу-дес-но. Он еще молод. Еще все впереди. Еще все успеет. И столько успел. Такой молодой — и уже известный. Перспективный. Прогрессивный. Агрессивный. Ассоциативный ряд. Отставить. Сегодня у него праздник. Парад. Триумф. Торжественный въезд победителя в священный Рим. Под гром оркестров и бурные аплодисменты толпы. А были ли в Древнем Риме оркестры?

— В Древнем Риме были оркестры?

— Я думала — писатели все знают.

— Писатели знают то, о чем пишут. О Древнем Риме я не писал.

— А про что писали?

— Как, вы не читали моей трилогии? Которая скоро станет тетралогией? То есть книгой из четырех, а может, и пяти книг? Вы не читали моей "Книги бытия"? Как же вы можете существовать на свете и считаться образованным человеком?! О, я начал с биографии. С биографии обыкновенных людей. Моего прадеда, моего деда, моих родителей, моих соседей, моих односельчан. Я записал тысячи биографий — людей разных поколений, людей девятнадцатого и двадцатого столетий. Колоссальная работа. Даже если бы я не написал на основе этого ни одной строчки — собранному цены нет. История за сто лет (и каких лет!) — через человеческие судьбы. А я написал. Начал с семидесятых годов минувшего столетия, теперь пишу о семидесятых — нашего. Трилогия моя естественно разрослась, как разрастается дерево. Каждая

ветка на этом дереве — отдельная судьба. Части трилогии так и называются: "Книга Нестора", "Книга Ивана", "Книга Марины"… Вы скажете: позаимствовал в Библии. Что ж, и позаимствовал! Но я смотрю на Библию как на книгу историческую, по крайней мере — на Старый завет. Не согласны со мною? Спорьте! Я написал книгу бытия моего народа. И пусть даже будущим поколениям художественные достоинства моего труда не покажутся высокими — они склонятся перед грандиозностью сделанного мною и для литературы, и для истории. Ярослав Петруня, скажут, не разменял свою жизнь на мелочи, не погнался за времянками, он создал памятник поколениям, свершившим революцию и своими костями вымостившим дорогу в будущее…

— Ой, дядечка, остановитесь! Я рядышком живу!

Опомнился, нажал на тормоза. Девчонка поблагодарила, хлопнула дверцей и побежала по тропинке к белому, под красной черепичной крышей домику. Словно листок вербы сорвался с ветки и понесся по огороду. Все чудесно. Когда-нибудь и впрямь он напишет такую трилогию. Трилогию-документ. Книгу бытия народа. Книгу глубокую и суровую. Книгу века. В ней он будет самим собою. Ярославом Петруней. Не побоится эксперимента. Другие писатели позволяют себе поиск, а он что — рыжий? Издатели привыкли, что в его книгах все гладко и обычно, грамотно, никаких конфликтных ситуаций, ни в издательстве, ни потом, когда произведение напечатано, налицо все признаки времени, разговоры об НТР, разговоры о генетике, об экологии, разговоры о… Теперь будет все иначе. Ксеня купит канадскую дубленку, и никаких дурацких расходов. Жить экономно. Скромно. Духовно. Для литературы, для народа, не для себя.

Ненаписанные книги, как нерожденные дети, тревожат совесть. После первых родов Ксеня трижды делала аборт — то

училась, то хотела петь, то старший уже подрос и появился вкус к спокойной, упорядоченной жизни, не хотелось пеленок, хлопот. Когда болел, приснилось: поле в тумане и маленькие привидения бродят, в белом, с красными, как капли крови, глазками, а кто-то говорит: "Это дети ваши с Ксеней, которых вы зачали, но родить не захотели, обрекли на смерть..." Ксене не рассказал про сон. Страшно было рассказывать. И вспоминать страшно.

Нерожденные дети — как ненаписанные книги.

Однако довольно. Все чудесно. Он в Тереховке. Известный, признанный и т. д. Можно нанизывать множество синонимов...

3

"Где этот чертов Бермут с фотокорреспондентами и телевизионщиками?.." Ярослав остановил машину у двора бывшей редакции бывшего Тереховского района. Историческая минута! Шутка, конечно. Отдых от славы, от шума. На дорогах юности. "Здесь где-то детство я оставил, а где — ищу и не найду", — писал он, приехав в Пакуль на весенние каникулы в десятом классе, бродил по сельским улицам, по ноздреватому грязному снегу, руки за спиной, голова задумчиво опущена, ностальгия по детству, неоглядные поля... рифма — земля, поля, весна, красна, борона, составлял словарик рифм, механизация процесса стихосложения на конвейере, в перспективе — новые шевиотовые брюки, мизерные гонорары районки вытолкнули его на выпускной вечер в старых дядьковых, подпоясанных веревкой где-то под мышками, но мотня все равно висела до коленок, а в вылинявшей тенниске свободно могли поместиться еще два таких, как он, впору были только дядькины же парусиновые туфли, отбеленные зубным порошком.

Здесь где-то юность я оставил… Трубите, трубачи, бейте литавры, я победил. Так мечтал о литературном вечере в Тереховке, но не вышло. Пусть теперь придут, пусть послушают, поглядят, все, все, кто считал его хвастливым мальчишкой, не верил в него. Воплощенная скромность, сдержанность, пусть кто-то другой говорит о нем — например, Бермут, а уж тот пропоет осанну. В первом ряду будет сидеть старый драный лис, заместитель редактора, который песочил его на комсомольских собраниях, и сам редактор Хорошун, завидовавший его публикациям в областной газете, он еще потребовал, чтобы собрание направило письмо в редакцию областной газеты о моральной и политической незрелости Ярослава Петруни, а бывший до Хорошуна редактор тереховской районки говорил, что в душе Петруни черти с ангелами дерутся на кулачках и ангелов, сдается, побеждают, потому что рогатых явно больше — теперь он учительствует в селе, погоди, ты еще, чего доброго, будешь ставить двойки ученикам, которые не читали произведений Ярослава Петруни, тогда вспомнишь чертей с ангелами…

Будь милосерден к побежденным. Где они все? — по углам жизни, а он — в центре, на свету. Он на сцене, они — в зале. Зрители моноспектакля, в котором Ярослав Петруня и автор, и актер. Исполнитель главной роли. И каждый его шаг заметен. Для истории. Не мельчи душой, поднимись над своими обидами. Я прощаю вас, недальновидные. Я милостиво вас прощаю. "Вы еще будете стоять в очереди за моим автографом", — говорил он Василю Гудиме в этом вот дворе, под шелковицей, после очередного обсуждения его поведения на профсоюзном собрании. Гудима тогда рассмеялся, но запомнил и ведь стоял в очереди за автографом, года три назад, когда Ярослав приезжал во Мрин на читательскую конференцию! Потом они обедали в ресторане. И Ярослав, подвыпив, спросил: "За какие такие грехи вы в Тереховке все норовили меня мордой об стол? Работу свою вроде делал

хорошо, за троих тянул. Это теперь вспоминаю все со смехом, но тогда — мировая трагедия, сердечные приступы, одно время даже намеревался покончить жизнь самоубийством". "Мы учили тебя… вас жизни, — оскалил зубы Гудима. Когда он улыбался, верхняя губа у него поднималась. — И вижу, не без пользы…" "Каким я был, таким и остался!" — вспыхнул Ярослав. "Каждому кажется, что он с годами не меняется. Но наши самооценки очень приблизительны. Потому что вместе с нами меняются и сами критерии, по которым мы себя оцениваем". — "Но ведь я доказал, что не выдумал свой талант, что он был и есть в действительности!" — "Что — талант? Талант — это конь, без него, конечно, не поедешь, но не меньше значит, в каких руках вожжи…" — "Ну, правлю я хорошо!" "Научились, научились… — снова улыбнулся Гудима. — Радуемся за вас…"

Почему он улыбнулся?!

Ярослав вышел из машины. Руки в карманах кожаного пальто. В кожанке, как в раковине. Еще во Мрине мечтал: черный плащ, широкополая черная шляпа, руки — в карманах. Изолироваться от среды. Здесь за изгородью, побеленной известкой, была витрина с районной газетой, на второй полосе в самом уголке его, Ярослава Петруни, заметочка о силосовании кукурузы. И вот он похаживает вдоль изгороди и следит за каждым прохожим, подойдет ли к витрине, прочтет ли его статейку…

В чем был на выпускном вечере, в том и явился на работу. Вот он — семнадцатилетний Ярослав Петруня, бери и веди за руку по тропинке, через широкий двор, мимо сирени и шелковицы к дому, откуда трещит пишущая машинка, четыре комнаты с окнами на солнце — редакция. А навстречу — Гавриловна, уборщица и курьер по совместительству, везет на почту в тележке, а зимой на саночках их продукцию,

результаты их творческих мук — кипу газет, остро пахнущую типографской краской и керосином. Иди ей навстречу и скажи бодро: "Доброе утро, Гавриловна", а она в ответ спросит, как, бывало, спрашивала все четыре твои тереховские года: "Что это тебе не спится, снова небось малевать будешь?" Не "писать", а "малевать" всегда говорила. "Человечество ждет, человечество!" — скажешь гордо, и она не поймет, шутишь ты или всерьез. В последний год, когда он решил во что бы то ни стало доказать всем, что он талант, приходил в редакцию на рассвете и писал в толстой в клеточку тетради повести, начиная каждый месяц новую. Тогда же — может, чуточку раньше — родилось его программное стихотворение, в котором рефреном звучали слова: "Народ с нетерпением ждет моих книг", и напевал его на мотив известного марша.

Изгороди нет, нет и шелковицы, нет, собственно, и двора, каким он был тогда, широкого, как футбольное поле, заросшего спорышем и седой полынью, ранней весной золотого, а потом белого от пуха одуванчика, двор словно зависал под синими небесами на множестве воздушных шариков. А сирень осталась, разрослась, стала старым, матерым кустом посреди огорода, весь двор вскопан; нижние ветки сиреневого куста со вздутыми кольцами-суставами, словно больны дворянской болезнью, а может, это уже другой куст, не тот, который они посадили весной на субботнике вместе с Гудимой, может, это внук того куста или правнук. И сарая не было, деревянного, с широкими, в полстены, воротами, в сарае стоял мотоцикл, и ранней весной весело было открыть настежь ворота, выкатить мотоцикл, ремонтировать его после зимнего отстоя и греться на солнышке, предвкушая дороги, экзаменационную сессию — месяц в Киеве, так много всего обещала весна! Молодость столько обещает — что-то дрогнуло у него внутри, а тогда не знал еще, какой он счастливый — по одной простой причине, — он молод. На месте деревянного сарая стоял каменный,

продолговатый, на три двери, каждая дверь одиноко глядела на огород висячим замком. Обыкновенный безликий сарай, не согретый воспоминаниями.

— Так вы из редакции?! — на крыльцо вышла женщина в мятой юбке, висевшей на ней мешком, вылинявшей кофте, в комнатных тапках на босу ногу и новом цветастом платке, уголки которого она поддерживала двумя пальцами. — Я так и подумала, что вы из редакции. Писала и буду писать. Пусть они что угодно говорят, но закон должен быть, не в лесу живем, и мой батько с войны пришел искалеченный, умер от ран, но на это никто не смотрит. Нынче вон для инвалидов войны и полка в магазине отдельная, чего хочешь там, на этой полке, — и крупа гречневая, и сгущенка, и без билетов на автобусах теперь катаются, куда кому надо, и на курорт бесплатно, а мой батько не дожил до курортов, потому что с фронта без легких вернулся и осколок в груди, под сердцем, а над родной дочкой измываются, ведь он воевал, чтоб никто над дочкой его не своевольничал. Законы у нас правильные, только начальство местное что хочет, то и творит. Но я молчать не собираюсь, хорошо, что вы приехали, все вам расскажу, все как есть, чего в письме не опишешь.

— Я из прежней редакции, работал здесь, когда еще в Тереховке район был, давно уже…

Но женщина не слышала, не хотела ничего слушать. Она пошла, не оглядываясь на гостя, по коридору, до боли знакомому коридору, у стен больше не стояли рулоны бумаги, и не пахло типографской краской и керосином, зато ядовито тянуло кухней, варевом, томящимся на керогазе, мокрым бельем, которое кисло в жестяном корыте, а с мокрого пола вода текла в щели. Когда женщина отворила дверь комнаты, он увидел самый первый свой кабинет. Когда он приехал в Тереховку, комната пустовала, и вскоре он поставил здесь

свой стол, водрузил на него старинную пишущую машинку и тюкал одним пальцем письма трудящихся — передовых механизаторов, фельетоны и очерки, был газетчиком на все случаи — от информации до отрывка из романа или поэмы, а как он бесился, когда кто-то проходил через его комнату, даже редактор крался на цыпочках, когда Петруня, накинув на плечи пальто, задумчиво склонялся над машинкой…

Теперь двери в другие комнаты были заложены. Железная кровать с горкой подушек стояла в углу, где — двадцать лет назад — творил он… Ближе к печке — детская деревянная кроватка. Стол покрыт клеенкой, старый платяной шкаф, стул без спинки. А над койкой, детской кроваткой и столом, как в плохо натянутой палатке после дождя, нависал потолок. Контурные трещины морей и океанов — следы летних ливней — прочерчивали пространство от провисшего потолка до стен. Местами штукатурка отпала, оголив дранку, а над входной дверью зиял черный пролом, словно вход в некое потустороннее чердачное царство.

— Я мать-одиночка и права свои знаю, тридцать лет на свете живу, не вчера родилась! — кричала женщина, тыча в потолок, ее худое бледное лицо болезненно расцветало красными пятнами. — Можно здесь жить? Вы мне ответьте! Да еще с пятилетним ребенком? Вы бы здесь жили? Вы там у себя в городе так живете? Я знаю, они вам в одну дуду заиграют: пусть сама ремонтирует. А когда и за какие шиши ремонтировать, на двух работах разрываюсь, убираюсь в клубе и в парикмахерской. На то вы и власть, говорю, чтоб матери-одиночке средства найти, а не отремонтируете, так я и в Киев, и в Москву дорогу найду, грамотная, географию в школе учила. Там быстрее поймут, там законы придумывают и в газетах печатают, чтоб исполняли!

Кого-то она напоминала Ярославу… не ту ли первую его, забыл уж, как и звали, да толком и тогда не знал. Но та должна быть старше, сейчас ей где-то под пятьдесят. Этой же и тридцати, наверное, нет. Он тогда задыхался от желания, наэлектризованный атмосферой танцплощадки и тереховскими девчатами, с которыми стоял у плетня. Познакомились на танцах, он плохо танцевал, вела она, доверчиво прижимаясь к нему грудью. Ярослав все помнит, помнит памятью тела. От нее шел аромат взрослой, зрелой женщины, и он спросил дрожащим голосом, не проводить ли ее домой, она засмеялась всем существом своим, засмеялась и сказала: "Проводи", она была не тереховской, приезжала из Мрина к тетке, жившей возле районного суда в хатенке, окруженной подсолнухами. Он что-то говорил дрожащим, прерывистым голосом, ловил воздух широко открытым ртом, как рыба на песке, а она больше молчала или смеялась, как раньше, не голосом, а всем существом. Они целовались как сумасшедшие, сидя на завалинке; шумели, трещали стебли подсолнухов, перепуганная тетка даже зажгла свет. Тогда огородами они пошли в редакцию, у Ярослава был ключ. Он постелил на пол подшивки старых газет, они легли на газеты, и он беспомощно возился, пока женщина не помогла ему, зеленому мальчишке, а он удивленно прислушивался к своему телу, ставшему таким легким с первой в его жизни женщиной. Молодость бурлила в нем. "Пусть эта ночь будет нашей". Выкатил мотоцикл и повез ее к реке по темным полевым дорогам, и они купались, ловя в пригоршни отражения звезд в воде, и снова она любила его, на крутом берегу; никто потом так его не любил, потому что это было впервые, по-настоящему, все было впервые: прикосновения женщины, женская страсть, мир женского тела, такой неизведанный, такой таинственный, сколько его ни открывай, он все та же манящая тайна, а вниз по реке плыл ночной пароход, шлепали по воде колеса, и огни отражались в воде, соревнуясь со звездами…

Где же все это, и было ли вообще?! Рябь на быстрине времени, и снова гладь, все приснилось, все привиделось.

— Ладно, я переговорю с вашим председателем.

— Переговорить и я могу, и говорила тысячу раз. А вода как текла на моего ребенка, так и течет, а дело к зиме. Наш председатель только о себе думает, за людей у него душа не болит.

— Ну зачем так — драматизировать? — сказал с упреком и направился к выходу. Неуютно чувствовал себя, как на сквозняке. Он приехал на праздник и имеет право не вмешиваться во все эти дрязги. Отвык. Он живет другой жизнью. Относится к иной породе людей. Талант поднял его над обыденщиной. Что общего у него с этой горлопанкой?

Вышел, не попрощавшись. Шел через двор, ускоряя шаг, а женщина стояла на крыльце и костерила его на все лады, пока он не скрылся в салоне машины и, хлопнув дверцами, не выключил ее визгливое причитание. Конечно, временные трудности, жилищная проблема еще не везде решена, тем более — в бывшем райцентре, волею судьбы утратившем городские привилегии и ставшем обыкновенным селом, можно даже написать об этом, но без демагогических обобщений, которые позволяет себе эта скандальная особа. Проехал по улице, где в тереховскую бытность снимал комнату. Комната выходила окнами в сад, в малинник, запомнился первый снег, зеленая листва на белом фоне и красные обледеневшие ягоды. Ночами он читал, зажигая керосиновую лампу, когда гасло электричество. Пол в комнате глиняный, помнилось прикосновение босых ног к холодной глине. Грязь в Тереховке была по колено, и осенью он пробирался домой задами, по огородам, но улицу все равно не минуешь, однажды ночью он потерял в грязи галошу, тогдашняя тереховская мода —

хромовые сапоги и галоши. Что еще? Все, пожалуй... Чужая жизнь, чужой Петруня месил грязь хромовыми сапогами, снимал убогую боковушку с глиняным полом, слепил глаза у керосиновой лампы и верил, что сотворит для человечества что-то грандиозное, новую книгу бытия, записывал воспоминания старых людей, готовился... Того парня давно нет, и никому ничего он теперь не докажет, потому что и бывшей Тереховки нет: одно название осталось, слова — и все. И никогда не состоится в Тереховке задуманный им литературный вечер, вечер его триумфа, доказательство его исключительности. Все, кто сплетничал о нем, кто смеялся над его юношеской похвальбой, не веря в его талант, — остались в той Тереховке, которой давно нет. Уплыла заветным островком по быстрине времени, стала недосягаемой. На этом островке люди все еще ходят в галифе и суконных кителях с белыми подворотничками. Трижды мигнув, в двенадцать часов ночи там гаснет электричество. И все еще живут там молодые нетронутые девчата, в которых он влюблялся и которые влюблялись в него, районного газетчика Ярослава Петруню. Они поют "Маричку", песню из кинофильма "Высота" и "Рушник вышиваный"... А Ярослав Петруня одним пальцем выстукивает на музейной пишущей машинке свои сентиментально-романтические опусы, говорит до тошноты скромному Василю Гудиме: "Я буду великим писателем, и вы еще постоите в очереди за моим автографом..." — "Из таких, как ты, нахалов великих писателей не выходит..." — "Только из таких и выходит. Скромность — первый признак посредственности..."

Хаты, в которой он снимал комнату, не было. На том месте высился кирпичный дом, крепость с бойницами окон и пышнотелой мансардой, на которую вели железные, выкрашенные в красный цвет ступени; глухие железные ворота смотрели на улицу двумя зелеными фарами, глухой полутораметровый забор тянулся вдаль, сливаясь с оградами соседних усадеб. Возросшее материальное благосостояние.

Жизнь на новом витке. Эпоха плетней и стрех миновала. Уплыла в прошлое вместе с его молодостью. Смешно искать то, чего давно нет. А у девушки, хозяйской дочки, которая тогда ходила в десятый класс и очень нравилась ему, теперь куча взрослых детей. Пышная сельская тетя. Взяли, наверное, парня в примаки. Шофера плодоовощной базы. Или лесничества. Одним словом, из теплого местечка. Держат корову и телку. Двух свиней. Половина огорода — клубника. Возят во Мрин и в Киев, а может, самолетом — в Ленинград. А была нежная, стыдливая, тоненькая как тростинка. Приносила ему яблоки в большой луженой миске, антоновку, светящуюся изнутри, и светились капли воды на яблоках, только что вымытых у колодца; он тоже умывался у колодца до поздней осени, закалялся, доставал ведро воды на деревянном журавле, а в ведре — желтый лист, тополиный. Не было и тополей, огород затеняют, как не было и журавля, и колодца, нынче в таких усадьбах — скважины с электрическим насосом. И уже чья-то другая молодость опоэтизирует в воспоминаниях эти атрибуты сельской цивилизации. Ярослав развернулся на перекрестке и поехал обратно, к центру. Зря он появился в Тереховке. Его Тереховки давно не существует. Киноафиша на заборе: "Сегодня в Доме культуры новый фильм: "Человек с того света". Это он с того света. Которого давно не существует. Музей воспоминаний. Пыль на экспонатах. Спрятать под стекло, чтоб не пылились. Руками не трогать. Не садиться, музейный экспонат. Сосредоточиться на сиюминутности. Жить сегодняшним днем, так это называется. Рима, откуда триумфатор шел на войну, нет. Но это несущественно. Главное, что триумфатор возвращается с победой. Пусть аплодирует Рим.

Победе?..

Остановился у книжного магазина. Строили его еще в райцентровские годы, Ярослав писал репортаж об открытии,

кто-то из редакционных коллег в перечень имен известных писателей, чьи книги предлагает покупателям магазин, вписал имя Петруни, типография хваталась за животики, перемигивались корректоры, когда он входил в комнату, только он ничего не знал, увидел уже в полосе, когда вычеркнул Я. Петруню гневным росчерком пера. Теперь на полках магазина пылились три его книги, по десятку экземпляров каждой, книжный голод обошел стороной эти места, а преодолевать издательские трудности он умел — ходить по кабинетам, любезно улыбаться директорам издательств, добиваться больших тиражей научился — и вот где его тиражи.

— О, у вас есть Петруня! — бодро обратился к продавщице, которая меланхолично глядела в окно на вершины осокорей, уже тронутых осенью. — Можно я куплю для знакомых? Не бойтесь, спекулировать не стану.

— А мне что, хоть и спекулируйте. Этого добра у нас на складе навалом.

Взял по три экземпляра каждой книги. Подарит актерам. С автографами.

— Я когда-то здесь работал. Еще когда Тереховка была райцентром.

— А разве Тереховка была райцентром? Я и не знала. С вас семнадцать рублей двадцать копеек.

— Вы здесь недавно?

— Ой, давно, седьмой год. Пора бросать, уйду в продовольственный. Хороших книг дают мало, а все вот такое. Только учебники и выручают.

Он молча кивнул и вышел. Швырнул книги на сиденье. Закурил. Продавщица из окна смотрела не на Петруню и не на его машину. Все на тот же осокорь, на суку которого сидел худой черный кот, а на облысевшей верхушке базарили галки. Желтый, словно светящийся изнутри лист лег на крыло "Волги". В Пакуле ему недоставало цвета. Полесье — чернозем, болота, белые хаты, черные с пятнами зеленого мха стрехи. Как окно в иной мир — семь цветов радуги в учебнике по физике, вклейка. И листья осокорей. В сентябре нежно-нежно желтые. Праздничные. Зеленая трава, серая пыль на дороге. Начало осени. Начало учебного года. Стало жаль себя, того парнишку. Экая сентиментальность. Завел двигатель, медленно тронулся. По тереховскому Крещатику. Так называли когда-то главную улицу райцентра. От книжного магазина до чайной. Километр мостовой, дальше — грязь. Лужа, широкая, как море. Тереховское море. Когда-то он искупался в этом море — с мотоциклом, резко затормозил, плюхнулся с головой, алкаши стояли на крыльце чайной, хохотали. А в первое лето вечерами он ездил по тереховскому Крещатику на велосипеде без рук, руки на груди, — вроде бы никого не видя — между влюбленными парами, стайками девчат, табунками подвыпивших парней и парами чинных тереховских служащих, которые прохаживались по главной улице, совершая вечерний моцион и демонстрируя местные и мринские моды.

Ярослав подъехал на "Волге" к столовой и, хотя дальше стлался гладкий асфальт, развернулся. Еще один разворот — у книжного магазина. И снова — медленно, словно плыл во сне, — к чайной. Откинувшись на спинку сиденья, на модные массивные подголовники. Но никто на него не смотрел. Некому было смотреть. Ни на него, ни на смушковые чехлы сидений,

привезенные из Болгарии. На лужайке у моста паслась привязанная к дереву коза. Выставив рожки, она намеревалась смело таранить машину, но веревка не пустила. Ярослав включил стереомагнитофон. Сентиментально-печальный шлягер заполнил салон "Волги". Он поспешно нажал на клавишу. Не поддаваться настроению. Прежней Тереховки давно нет, а для нынешней он никто, пришелец. И никому ничего он уже не докажет, ни своей роскошной машиной, ни итальянским кожаным пальто.

Но ведь он едет на собственной машине по тереховскому Крещатику, едет! Эй, вы, кто здесь ходил четверть века назад, оглянитесь, всплесните руками, раззвоните по райцентру, от учреждения к учреждению, что видели Петруню из редакции за рулем, в черной "Волге", Петруню, шнырявшего по вечерам среди людей, которые вышли подышать свежим воздухом, на дребезжащем редакционном велосипеде! Того пролазу-Петруню, который не стоял в общей очереди к буфетчице, а пристраивался обедать к боковушке для районного и приезжего начальства...

Пленка памяти — стоп! Так фиксируются на телеэкране в замедленном кадре-повторе драматические моменты футбольной баталии. Голевая ситуация. Начинал он в районке с репортажа о заготовке силоса, потом был фельетон про местных торговцев, про засиженные мухами витрины с немытой посудой. А на следующий день, когда Ярослав пришел обедать и скромно занял очередь, к нему подошел директор столовой, отозвал в сторону, извинился, поблагодарил за правильную критику, доложил, какие принимаются меры, и пригласил в отдельную комнату, банкетной называлась, там уже был накрыт стол, холодная закусочка, и дымящийся борщ, и пиво. Потом ему принесли отбивную с только что поджаренным картофелем, который так и таял во рту, с тех пор он ежедневно ел отбивные в

отдельной комнатке, так распорядился директор, первое отличие таланта, вот откуда все началось, а потом директора посадили за финансовые злоупотребления, фельетон забылся, он уже стоял в общей очереди, обедал вместе со всеми и в общем зале, общим борщом и общими котлетами, но первый жизненный урок отложился в мозгу, вот он, можно нащупать, можно увидеть, как красную лампочку на приборах в кабине автомашины, которая загорается, если…

Он резко свернул в сторону и затормозил у сельского Совета. Даже не включил сигнал правого поворота. Нарушил правила, хотя старался не нарушать. Правил уличного движения. И правил жизненного движения. Кто нарушает, того штрафуют. Тот попадет в аварии. Он хорошо водит машину. И машину нашей семьи, добавляет Ксеня, если она в хорошем настроении, если они не ругаются; впрочем, они почти не ругаются; когда это было в последний раз?.. Нарушил правила, чтобы не додумывать до конца, чего додумывать не хочется.

Прежде, в годы его юности, в этом домике помещался районный кабинет партийного просвещения, заведующая держала для начальства два комплекта шахмат. Ярослав тогда увлекся шахматами, а когда приехал чемпион из области, кандидат в мастера, уже и фамилия вылетела из головы, чемпион написал статейку в районную газету, Петруня готовил ее к печати, познакомились, Ярослав возьми и сболтни: "Вот колеблюсь, чему посвятить жизнь — шахматам или литературе…" Чемпион повел его в парткабинет и дал за полчаса три мата, не глядя на доску (сидел в комнате заведующей, шутил с ней, небрежно бросая через открытые двери: "Конь — дэ три, слон — аш пять…"), шоковое состояние, долго обходил парткабинет стороной, место позора, колоритный факт из биографии Ярослава Петруни, писателя, широко известного… в своей семье…

Давно собирался написать о тереховской жизни, но так и не решился. И Бермут здесь не виноват. Написал сентиментально красивые картинки из детства. А дальше — стена, запретная зона. Страх заглянуть в себя, истинного. Кроме той частички души, где все такое трогательно-лирично-литературное… Когда же его сусальные пассажи приелись издателям, черпал темы из газет, закупая прессу по утрам пачками, из Ксениных минорных воспоминаний о Карпатах, из разговоров с коллегами, не брезговал ничем, даже ирпеньскими анекдотами. А еще — книги. Великий книжник Ярослав Петруня! Вспомнился сын: "филологические упражнения"… Система для чтения и производства новых книг — вот кто он. Замкнутая система. Лишенная контактов с окружающей средой. Не запрограммированная на духовное усовершенствование. Без критического отношения к себе нет самосовершенствования. Нет духовного роста. В литературном микромирке. Страх перед реальной жизнью. Появился. Незаметно. Страх перед общением с людьми не из литературной среды. Страх сквозняков. А по вечерам на даче или в Доме творчества щелкнуть замком своей комнаты — и тайно от посторонних глаз пить вино. Чтобы прогнать страх творческой неполноценности, страх пустоты…

Толстощекая секретарша тюкала пальцем на пишущей машинке.

— Простите, я могу видеть председателя сельского Совета?

— Они у себя.

"Их нет, но ихнее пальто висят", — вспомнил давнее, тереховское, так помощник отвечал на вопрос о председателе райисполкома, едва не рассмеялся, уже на пороге кабинета сделал серьезное лицо. Слыхивал от бывших тереховцев, что

теперь в селе председательствует младший Гудима, брат Василя, но едва узнал его. Помнит худощавым парнем, а теперь за массивным канцелярским столом сидел полный и уже весь седой мужчина предпенсионного возраста.

— Добрый вам день, Андрей Мефодиевич! Не узнаете?

— Скажете, кто будете, — сразу же узнаем, — оторвался от бумаг, разложенных на столе.

— Земляк я ваш, работал когда-то в редакции районки, — сделал паузу, — Ярослав Петруня.

— Теперь узнаю́, как же, и прошу садиться в нашей хате. Давно в наших краях не бывали, все по столицам. Где сейчас трудитесь?

— Книги пишу.

— Это мы знаем. Хотя книжек и некогда читать, но газеты просматриваю и радио слушаю, так что полная информация. А работаете где?

— Писателем и работаю, где ж еще, на творческих хлебах называется.

— А… я думал — может, в "Перце". Материальчик тут у нас есть злободневный, как раз для "Перца". А может, наверху где подскажете: проперчили бы как следует — за систематическую клеветническую деятельность? Есть у нас одна такая, завелась писательница, в бывшей редакции, кстати, и проживает, пишет во все инстанции, что ремонт не проводим, а у самой в соседнем селе — материн дом, три комнаты и кухня, и не живет и не продает, а держит на

квартире колхозного агронома, получает, соответственно, нетрудовые доходы. Я ее неоднократно приглашал и советовал: ты, мол, сперва у себя злостные недостатки ликвидируй, а тогда уж на мои в клеветнических своих письмах указывай, а то зажгла красный фонарь и не думает гасить, захаживают к ней и денно и нощно, одного ребенка неизвестно от кого нагуляла, а в перспективе может еще не один появиться от подобной жизни, если не примет во внимание указания руководящих органов. А я ее когда-то пожалел и предоставил коммунальную жилплощадь, нужна была уборщица для клуба и парикмахерской. Так она вот как меня отблагодарила. Теперь я ставлю вопрос перед высшими инстанциями, чтобы возвращалась к себе в село и работала в колхозе, а на должность уборщицы у меня кандидатура в натуре подобрана. Помогите нам через "Перец", уж так будем благодарны от имени всей общественности за помощь по ликвидации морального разложения в повседневном наличии. А то целыми днями ничем путным заниматься не могу, только отписываюсь от ее злостных жалоб и поклепов. Домой заходил, не траться ты на марки, говорю, а приноси свою корреспонденцию прямо в мой кабинет, ведь все одно писульки твои возвращаются ко мне через высшие инстанции, а так бы я сразу давал тебе письменное объяснение, и переписывались бы как две канцелярии, пусть я один света не вижу от писанины, а то ведь в общих масштабах…

Бес их разберет, кто тут прав, кто виноват, он давно отошел от журналистики, ощущение неуюта в реальной жизни, сквозняка, как в детстве: поздняя осень, подмораживает, шершавеют лужи, сумерки, куча мокрой картошки в глубине двора, только что привезли из колхоза, распахнутые настежь двери выстуженной хаты, картошку носили корзинами и ведрами, ссыпали в угол, грязный пол, ведерко с поло́вой — напротив печи, мачеха рубит бураки, смешивает их с половой — это корове; внезапное прозрение:

так холодно и неуютно будет долго в твоей жизни, вечная угрюмость мачехи, равнодушное отчуждение отца после смерти матери, и осень, пронизывающий северный ветер — воспоминание, которое преследует его, воспоминание, от которого он бежит в гостиничные люксы, в роскошные квартиры, добытые правдами и полуправдами, но от этого не спрячешься нигде, короткая вспышка памяти — и ты снова становишься мальчиком-сиротой пакульским, в стылой хате, в морозных сумерках, окропленных ноябрьским солнцем…

Очутиться бы у себя на даче или в уютной, обжитой за многие зимы комнатке Дома творчества, свернуться калачиком, спрятаться, утонуть в кресле-качалке, укрывшись ирландским пледом, и читать детектив — иногда, устав от сидения за пишущей машинкой, он позволял себе такие маленькие каникулы, а за окнами ветер раскачивает вершины сосен за герметическими двойными рамами, и потрескивает огонь в камине, и на тахте пушистое белоснежное кипрское покрывало, так приятно лечь на него, прижаться щекой и смотреть в медовое зеркало паркета с отражением люстры… На кой ему эти тереховские будни, он выше сиюминутности, лишающей широкого взгляда на мир, заземляющей мысль. Не размениваться на мелочи. Тереховок много, а Ярослав Петруня — один. Скорей в машину, хлопнуть дверцей, включить музыку, медленно ехать по тереховскому Крещатику. В машине — его микромир, а Тереховка за стеклом — далекое воспоминание. Решительно поднялся, прерывая монолог тереховского председателя:

— Простите великодушно, но надо ехать, спешу на премьеру, сегодня в областном театре спектакль по моей пьесе. Приглашаю.

— Что вы, нет времени и футбол посмотреть, отписываюсь день и ночь от этой стервы, секретарша не успевает печатать

и отправлять. Может, кто знакомый в "Перце" появится, так дайте знать...

Сбегал с крыльца сельского Совета, удирал, как мальчишка, вот-вот догонят и схватят за полу. Нырнул в машину, закрыл дверцы и только тогда закурил. Включил телевизор, магнитофон, вентилятор. Пусть работают, пусть творят мир, его мир. Почувствовал облегчение, когда последние домики Тереховки мелькнули по сторонам дороги и исчезли, потерялись из виду, потерялись в прошлом. В ином измерении времени. На ином витке человеческой истории. Зря он заезжал сюда. Это не для него. Иногда в поезде, глубокой ночью, с какой-то необъяснимой опаской и тоской он смотрел из окна спального вагона на огоньки затерянных в степях сел и городков: "Ведь и там люди живут..." Его нынешний мир и мир этих людей в подвластных всем дождям и ветрам селениях — так разнятся. И теперь так же отчужденно думал о все удалявшейся Тереховке. Спальный вагон, и машина, и комната в Доме творчества, и кабинет на даче, и его кабинет в Киеве — все это раковины, комфортабельное убежище от реальных сложностей мира, от жизни, настоящей жизни. Скажи себе наконец правду: ты — беглец, ты отвык от сквозняков, ты давно живешь в искусственном мирке сборищ в Доме литераторов, кафе Дома литераторов и Домов творчества, торжественных мероприятий, литературных парадов, ты видишь людей только со сцены, изредка еще пожмешь руку рабочему или доярке под стрекот кинокамеры и вспышки блицев... поездки за рубеж, чужая жизнь за окнами туристских автобусов, беготня по магазинам с бумажкой в потной руке, на которой учтена каждая валютная монетка и расписано, что купить, язык на плече — от магазина к магазину, дешевые товары, товары для бедных, а почем здесь золото, дешевое перуанское золото, Ксеня мечтает — о господи, о чем она только не мечтает?! "Почему ты не купил золотых сережек?..", поездка на Волынь, творческая

командировка, изучать жизнь — жизнь за окнами машины — как пейзажный фильм, общение с руководством районного масштаба, председатель колхоза при параде — одет в плотный мундир из стереотипных ответов, а потом — карасики на берегу пруда, и радостное прощание, наконец-то председатель сможет заняться своими хозяйственными хлопотами, избавившись от писателя, о котором позвонили из района, приятная экскурсия по жизни, я работаю писателем, я чиновник от литературного ведомства, я... Я — мертвая звезда на литературном небосклоне, полном живых ярких звезд, я сжимаюсь, мое духовное поле уменьшается (почти физически ощущаю, как усыхает мой мозг, так усыхает море, когда мелеют реки, несущие в него воду), я становлюсь черной дырой на щедром литературном небе народа, и лишь радиотелескоп профессионального критика, который вынужден меня читать, такая у него работа, свидетельствует, что я все еще существую...

Снова срываюсь на крик. Снова слова, слова. Что-то во мне умерло. То, что писало. Что творило. Фантазировало. Когда слова были не словами, а маленькими молниями, которые выбрасывали озон, без которого нет духовной жизни. Во Мрине, когда я писал свои первые новеллки, поздними вечерами и утром, перед работой, в редакционной комнатенке, за столом, приткнувшимся к столбу, который поддерживал горбатый потолок, все это было. Бежал завтракать в "Молочную", улицы, залитые солнцем, радость творчества, и рысью — в редакцию, чтобы с головой уйти в дела, швыряю тетрадь на роскошный персидский ковер, покрывающий пол моего кабинета, топчу ее ногами, падаю вниз лицом на тахту с мягчайшим кипрским покрывалом, из чистой шерсти, кусаю декоративную подушечку (за все это так дорого заплачено — жизнью!), бьюсь головой о стену, истерия, но и на стене — ковер, боли не чувствую, мягкое, уютное гнездышко, старался, чтоб не хуже, чем у людей, даже лучше; начать бы все

сначала, но — поздно, все мертво, я убийца, насильник Музы своей, Музы, воспетой поэтами, которых давно нет, и вот пишу, чтоб никого не задеть, ничего не сказать, а сказать дано только знающим, только испытавшим боль, а что знаю я и о чем болит душа моя? А если нельзя начать все сначала, то придется удовлетвориться сущим, ничего уже не изменишь, поздно, у тебя есть компенсация за бессмертие — эта вот машина и все, чего может пожелать смертный, я тоже — смертный, как все, ну пусть немножечко лучше, удачливее, я писатель, еду на свою премьеру, и не надо истерик, у меня все великолепно, впереди — парад, апофеоз, триумф Ярослава Петруни во граде его юности Мрине...

4

"Болеро" Равеля, бодрые, победные, все нарастающие ритмы, их он переписал с пластинки на кассету магнитофона, прекрасно монтируется с золотыми луковицами мринских соборов, и солнечным днем, и предчувствием праздника. Только так должен въезжать во Мрин Ярослав Петруня, автор пьесы "Земные радости", о чем извещают афиши с портретами автора, Бермут позаботился, афиши с портретом он обещал еще в тот вечер, когда впервые позвонил и предложил свои услуги. Интересно, узнают ли его бывшие одноклассники, он не очень изменился, выглядит достаточно молодо. Вот такие дела...

Суета, конечно, приступ тщеславия. Но притормаживал у каждого рекламного щита, а на фасаде областного театра с радостным чувством зафиксировал глазами красную ленту с аршинными белыми буквами: "ЯРОСЛАВ ПЕТРУНЯ. "ЗЕМНЫЕ РАДОСТИ". Бермут предлагал организовать торжественную встречу драматурга на ступенях театра, с хлебом-солью, как увертюру к вечерним торжествам, он скромно отказался, а смотрелось бы неплохо, большая, всегда людная площадь — и

коротенькое представление, интермедия на гранитном постаменте. А там — весь город. Только вот портрет на афише неудачный: кривая, хитроватая ухмылка, ростовщик, перекупщик какой-то, а не писатель. Виноват фотограф — лицо Ярослава Петруни может быть умным, значительным, хорошо смотрится в президиумах, жаль — редко приглашают. А может, фотограф — гений и схватил его истинную сущность? Жизнь человеческая — спектакль. Ему выпало играть роль писателя. Могла быть и менее интересная роль. Если идея древних о переселении душ не столь фантастична, как кажется нам в рациональном двадцатом веке, то после смерти мы элементарно меняемся ролями, смерть — лишь переодевание за кулисами театра. В этой жизни я играю роль Принца, в следующей, возможно, достанется роль Золушки, которая мечтает стать принцессой. А если бы не мечтала, то никогда бы не стала ею. Бермут в рецензиях на спектакль, которые за него надо переписать, чтоб звучало по-человечески, нацарапал, что "Земные радости" — первая пьеса Ярослава Петруни. Но первую пьесу он написал еще во Мрине. Уже и позабыл, как называлась. Но в интервью с местными корреспондентами можно вспомнить, где и как начинался драматург Ярослав Петруня. Подсказать Бермуту, чтобы организовал интервью. В конце концов, что здесь плохого — иметь собственного литературного агента, пусть даже такого, как Бермут, это наш провинциализм в нас откликается. Так вот, он написал первую пьесу еще во Мрине, в том самом жалком редакционном кабинете со столбом посредине, поддерживающим потолок, в окна заглядывала сирень, Ярослав ночами кружил вокруг столба и вслух читал диалоги, каждая фраза звучала как музыка, какое банальное сравнение для ныне известного, талантливого и т. д. Понес пьесу режиссеру местного театра, тогда еще театр был в старом помещении, новое только строилось. Режиссер взял рукопись и попросил зайти через неделю. Через неделю Ярослав снова сидел в приемной режиссера и безудержно фантазировал: вот

пьесу с огромным, неслыханным успехом ставят во Мрине, аншлаги в других городах, от режиссеров нет отбоя, спектакли с колоссальным успехом идут по всей Украине, по всему Союзу, гонорары, гонорары, гонорары, на все эти гонорары он построит асфальтовую дорогу из Мрина до Пакуля, чтобы машины не тонули в грязи, благодарные земляки… Режиссер — до сего времени в памяти черная борода с бакенбардами, словно траурная рамка вокруг лица, и дымчатые очки — не оставил от пьесы живого места. А в редакции сплетничали, что Петруня за свою бездарную пьесу требовал от театра пятнадцать тысяч. За его спиной хихикали, газетчики, особенно в провинции, недолюбливают коллег, которые лезут в писатели.

Пускай теперь посмеются…

Разве нельзя знать о себе все, все понимать, а жить как и жил?

Без всяких иллюзий на свой счет.

В наш двадцатый век…

5

С этим и подрулил к гостинице.

На крыльце торчал Бермут. Увидев Ярослава, поспешно спрятал в футляр окурок сигары и с неожиданным для его массивного тела проворством засеменил к машине. Ярослав не спешил выходить, выключил зажигание, положил в карман сигареты — пока Бермут открывал ему дверцы. Торжественный выход триумфатора. Бермут шел следом с саквояжем Ярослава.

— Докладываю, Ярослав Дмитрович, по-военному коротко, потому что времени у нас почти нет. Я все глаза проглядел, вас ожидаючи, и незапланированную сигару выкурил почти полностью от сильного волнения. Стоимость ее, с вашего позволения, приплюсую к нашим общим расходам, сигары нынче дорогие, на пенсию не напокупаешься. Сегодня наш день расписан по минутам. Через полчаса — встреча в родной школе. Обсуждение творчества мастера слова в классе, где вы учились в свое время. Нас уже ждут. Потом — обед с руководством театра, столик на шестерых я уже заказал, и все самое лучшее, что нашлось в запасниках ресторана, скупиться здесь не приходится. После обеда — выезд на пакульские поля, дорогами детства и юности, так сказать, с фотокорреспондентами и телекорреспондентом, снимается сюжет на тему: трудовая жизнь вдохновляет известного писателя на творческие свершения. Короче: писатель приглашает своих земляков на премьеру спектакля. Писатель и его читатели-труженики. Возможно, свекловоды. Или животноводы. Я попробую договориться с еженедельником о фотоочерке. "Ярослав Петруня. Думы про урожай", например. Возможны варианты. В еженедельнике еще работает один из тех, кому я когда-то в издательстве давал зеленую улицу, хоть его писанина и тогда уже никуда не годилась. Но люди умеют забывать добро. Впрочем, кто не стучит, тому не отворяют. Будем бороться. Если Бермут за что-либо берется, он свои планы реализует наилучшим образом. Ну а затем — спектакль. Обсуждение спектакля. Банкет для актеров. В буфете обо всем договорено и за все заплачено в соответствии с вашими указаниями. Прошу ваш паспорт, номер-люкс исключительно для высоких гостей; учтите, что и номер этот стоил мне немалых усилий, Бермут даром хлеб не ест. Вот, будьте любезны, ключик…

Ярослав пронес себя через вестибюль, мимо очереди командированных, через головы которых Иван Иванович уже

передавал администратору его паспорт, медленно поднялся по лестнице, устланной ковровой дорожкой, на второй этаж. Руки в карманах расстегнутого итальянского плаща, кожаного, шестьсот восемьдесят рублей — магазинная цена, шесть месячных зарплат дежурной по этажу, поднявшейся навстречу ему, Бермут всех всполошил — писатель приедет! Кот в сапогах, а не Бермут, из сына мельника — в вельможи. В настенном зеркале увидел себя в полный рост. А ничего — элегантно. Только вот это лицо ему никогда не нравилось, лицо человека, радующегося, что, слава богу, сыт, а глаза, глаза… помнящего о голоде. Суетливые глаза, боящиеся заглянуть в себя. Ярослав поспешно отвернулся от двойника в зеркале и увидел за неплотно затянутыми занавесками, в отгороженном от общего коридора холле, два ряда кроватей, как в казарме, на одной из кроватей спала, с головой укрывшись простыней, женщина; темный жакет и юбка (учительница, наверное, или агроном) висели на спинке стоящего у кровати стула. Ярослав повернул ключ и толкнул дверь номера. Просторная прихожая со шкафом, вешалкой для одежды и зеркалом (снова! он не любил зеркал, даже брился без зеркала, на ощупь), гостиная с длинным столом посередине, журнальным столиком, диваном и креслами, гостиная — настоящий зал для приемов, и спальня — две кровати, коврик между ними, провинция-люкс, мринские представления о роскоши и комфорте. Петруня раздвинул тюль, вышел на балкон, освещенный солнцем, закурил сигарету, хотя курить не хотелось. Сигарета — это штрих. Снизу, с улицы и бульвара, начинающегося от перекрестка, он смотрелся, наверно, очень эффектно. В сорок пятом, а может, в сорок шестом мать везла его на подводе из больницы, после дифтерита, от которого он едва не умер. Запомнились черные скелеты обгоревших домов. Город как чужой темный лес, а он — такой маленький, слабый, жался к матери и облизывал губы, еще сладкие от компота, который тетка принесла в больницу, последний глоток — перед дорогой. И стая городских

мальчишек с палками, мать называла их шибениками[5], бежала за их подводой и строила рожи, страх в глубине души, страшок, который не выветрился и спустя десятилетия. А в четвертом классе он приехал к тетке в гости, на Первомай, тетка втиснула его в колонну от своей школы, чтобы он прошел мимо праздничной трибуны, колонна остановилась на этом вот бульваре, директор обходил строй (мальчики — в белых рубашках и красных галстуках) и увидел его, пакульского, в потертом хлопчатобумажном костюмчике с короткими рукавами: "А это что такое? Кто позволил портить праздничную колонну?" — и двумя пальцами — за рукав, выше локтя, брезгливо вывел его из колонны, на обочину дороги (мировая трагедия!). И на площади призывно играли оркестры, а люди смотрели на него, Ярослава, выведенного из колонны за этот безобразный, мятый гармошкой рукав, слезы текли из глаз, но он сжал зубы, чтобы не заплакать навзрыд, как ребенок, а слезы текли по щекам, по серому пиджаку, падали на асфальт, его слезы. Хватит. Сентименты. Лирика. Он уже об этом вспоминал. Не один раз. Навязчивое воспоминание. "Здесь где-то детство я оставил..."

Да неужто ему всю жизнь, как черепахе панцирь, тащить на себе комплексы голодного, сиротского детства?! Снова и снова в утешение оглядываться на себя, мальчишку послевоенного поколения, одну из жертв войны?! Он завидует своему сыну не потому, что тот вырастает в достатке, без унижений бедности и голода, а потому, что ему никогда не придется мысленно выкрикивать в лицо каждому встречному: "Ага, смотрите, кем я был и кем стал!" Трудно, ох как трудно было взлетать с пакульского болота, но оно до сих пор держит его за ноги, за кирзу, которую отрывал от себя с кожей. Но и теперь он чувствует ее тяжесть, особенно по ночам, как чувствуют калеки боль в ампутированных ступнях. А если у него ампутирована душа?! Иногда он ненавидел себя лютой ненавистью со всеми своими пакульскими комплексами. А

может, у Ореста будет другой комплекс, комплекс сына своего известного отца. Впрочем, сын не читает его книг, хотя охотно носит барахло, купленное на отцовские гонорары. Это внутреннее интуитивное противление отцу, этот критический настрой и иронический огонек в глазах, когда речь заходит о его книгах. Как-то раз он сказал: "Ты, па, пишешь толстые романы, это несовременно, за границей давно уже толстых книг не пишут..." Они ехали в машине, Ярослав едва не бросил руль, руки чесались — повернуться и дать пощечину, для кого он писал толстенные фолианты, гнал листаж, перевыполнял план по валу? Неужто для того, чтоб этот лоботряс поучал его. Сни-схо-дил! Сопляк, которому все время что-то было нужно: то витамины — не зарастал родничок, то икра — у мальчика слабые кости, сказал профессор... Господи — все надо! надо! надо!.. Он не снял рук с руля, потому что хотел еще пожить и жалел свою антрацитовую "Волгу", но выдохнул с болью и упреком: "Да ведь я спешил, всю жизнь спешил ради тебя, сопляк!" — на что сын спокойно и рассудительно ответил, развалившись на заднем сиденье: "Не преувеличивай, па, ты просто оправдывался мною. Склонность к компромиссу с собственной совестью — это в генах, от рождения, давно доказано генетиками..."

Рехнуться можно от всего этого.

Взнуздать себя и не думать, спеленать и не думать.

Он вернулся в гостиную, чтобы потушить в пепельнице окурок. Иван Иванович сидел в кресле и попыхивал сигарой. У его ног стоял саквояж Ярослава.

— Подождите внизу, пока я переоденусь. Я не выношу сигарного дыма!

Бермут, помогая себе обеими руками, оторвался от кресла и потащился к двери, едва сгибая ноги в коленях.

— Ладненько, ладненько, уважаемый Ярослав Петрович, я на крыльце покурю.

Петруня плеснул себе в лицо холодной воды из-под крана. Зря он так. Обидел старика. Тот старается, как может. Хоть и не бескорыстно. Но теперь они связаны одной ниткой. Тандем. К тому же у Бермута — давние связи. По крайней мере, похваляется. Может подставить ножку. Он теряет осторожность. Истерия. Никому не нужная. От переутомления. Ведь все чудесно. Просто чудесно. Начиная с просторной чистой ванны и новых мохнатых полотенец. Сейчас он примет душ. Смоет тереховскую пыль и дурные мысли. Он хорошо сохранился для своих лет. Да просто он молод. И всегда будет молодым. До шестидесяти. До семидесяти. Впереди — еще много-много лет. Как это прекрасно — жить. Наслаждаться жизнью. У него еще такое стройное тело. На Кубе ходил в шортах — кубинки заглядывались. Вечером Маргарита будет его. Плод созрел и готов упасть. Плод-скороспелка, но ему что до этого? А может, это произойдет еще днем, перед спектаклем. По телефону договорились, что она придет в гостиницу после трех. До трех — репетиция, последняя, режиссер не отпустит, на побегушках. Кажется, девчонка и впрямь влюбилась. Жизнь просто расчудесная, если в тебя влюбляются девчонки вдвое моложе…

Бермут танцевал на крыльце, глядя то на часы, то на люксовский балкон. Они действительно опаздывали. Можно перейти бульвар — и два шага до школы. Но Петруня желал подъехать к школе на собственной "Волге". К родной школе, в которой на выпускном вечере ему не выдали аттестата, потому что не было заплачено за год обучения, пятнадцать

рублей новыми деньгами, сейчас он больше тратит на одну заправку машины бензином.

— Как вы, Иван Иванович, считаете, а может, предложить им погасить должок? Ха-ха! Теперь — смешно, правда, а тогда — целая трагедия, не выдали аттестата! Еще до выпускного вызывал директор, почему не платите, грозил исключением, кажется, был последний год, когда платили за обучение, но мне от сознания светлых перспектив не было легче, я плакал в кабинете директора, хоть знал, что пугают, что не исключат, — от стыда, что не могу заплатить, что у меня такие бедные родители и такие скупые тетки. Где-то я читал, что детская слеза, падая на землю, сжигает ее, и на том месте уже никогда ничего не растет. Значит, тропинки моего детства, как пишут лирики и как когда-то писал я сам, — сплошное пепелище! Время не лечит ран, это — поэтическая неправда, время только бинтует раны, а если бинт разматываешь, они болят еще нестерпимее, чем раны свежие…

Ярослав поднял глаза, увидел в зеркальце удивленное лицо Бермута и резко оборвал себя. Чего это он так разнюнился снова?! Он удачливый, везучий, баловень судьбы, когда-то о таких говорили, что им сам черт зыбку качает. К чему эта драма? Маленькие трагедии Ярослава Петруни, сыгранные им самим. Ему и впрямь везет. Он убедил в этом других, осталось поверить еще и самому. Очень веселый, простой, остроумный, легкий в общении, но это то же, что и коммуникабельный, легкий в жизни, но это — негативный оттенок модификации слов, балансирование на грани смысла, но разве у слов есть грани, слова — круглые, он любит шутить — работаю писателем, перевыполняю планы, ежеквартальные премии за количество, а отдел контроля за качеством не предусмотрен по штатному расписанию, отдел контроля качества — в тебе самом, отдел контроля качества — твоя

совесть, раздувание штатов, сокращение штатов, сократить отдел контроля за качеством — собственную совесть…

Ярослав весело и беззаботно рассмеялся:

— Где-то у этих тополько́в, на бульваре, они были тогда саженцами, я глубокомысленно решал, как заработать на выпускные штаны: поработать несколько ночей помощником ассенизатора, у насосов, канализации во Мрине еще не было, вывозилось золото полей, как мы писали в тереховской газетке, бочками, или сотворить стихотворение, напечатать в районке, получить гонорар… Я выбрал литературу. Но тогда я еще не знал, что в литературе есть вы, Иван Иванович.

— В литературе — вы, Ярослав.

— Еще немножко — и я поверю.

— Я всю жизнь около литературы. Я даже не член Союза писателей, хотя трижды подавал документы. Я никто, хотя всю жизнь мечтал. Но и маленькая роль в большом спектакле — почетна.

— Скромность — прекрасная черта, жаль только, что она проявляется в вас так поздно, в пенсионном возрасте. Простите, я сегодня взвинчен, зол и то и дело выхожу из роли благодушного, уверенного в себе литературного счастливчика. Но, кажется, мой парад не состоялся, около школы нас никто не ждет.

— Не волнуйтесь, организационный талант Бермута еще ни у кого не вызывал сомнения, в отличие от литературного.

Ярослав шагал через две ступени по лестнице, по которой поднимался и сбегал — кто подсчитает, сколько тысяч раз? Бермут сопел где-то внизу. В памяти стерлось, где учительская, где кабинет директора, а ноги — помнили. Обутые в бурки со склеенными из красной автомобильной резины чунями. Девчата по углам хихикали. Сын директора театра брал его за локоть двумя пальцами и отводил в сторону: "Послушай, дружище, ты должен больше заботиться о своем внешнем виде, ведь наш класс — образцовый".

— Я существую в двух мирах! — крикнул вниз, на лестничную площадку, где пыхтел перед штурмом последнего марша Иван Иванович. Сверху он в своих широченных, как море, штанах на толстом обрубочном теле казался еще карикатурнее. — Меня трут в порошок жернова времени.

У дверей директорского кабинета, словно почетный караул, стояли две девочки в отутюженных школьных формах. Из-за письменного стола навстречу Петруне поднялась пожилая женщина в светлом парике под цвет пергаментного лица.

— Верно, вы и будете писатель, которого мы ждем? Это мероприятие у нас внеплановое, но ваш деятельный товарищ просил, и мне звонили, я поручила руководителю девятого класса провести все на должном уровне. На учительских конференциях нам тоже рекомендуют подобные мероприятия, для общего развития учащихся. Аудитория подготовлена, выступления и вопросы мы утвердили, так что никаких неожиданностей не должно быть… — Директор обошла Ярослава, словно сейф, содержание которого ее не интересует, потому что ключа от него нет и не предвидится. — Девочки, это — наш уважаемый писатель, вы проводите его в кабинет языка и литературы.

И они пошли по коридорам: впереди — девятиклассницы, подсознательно демонстрировавшие пробуждающуюся женственность, чего уже не скрывала даже школьная форма; за ними, не вынимая рук из карманов небрежно расстегнутого пальто, двигался Ярослав; сзади пыхтел как паровоз Иван Иванович — в пустых коридорах раздавалось эхо. Опоздавшие на урок одинокими ящерками проскальзывали в двери классов, он тоже когда-то опаздывал, потому что ждал Олесю в закутке коридора, возле ее класса, а Олеся была старостой и часто входила в класс последней с таблицами или приборами для опытов, и он успевал сказать ей несколько слов, колюче-ревнивых, ревновал ее ко всему на свете, или передать посвященный ей стих, или спросить, читала ли она книгу, которую сам только что прочел. А однажды их увидела химичка, которая с журналом под мышкой направлялась в класс, и, едва Ярослав, извинившись, переступил следом за ней порог, кольнув его холодными, насмешливыми глазами, сказала громко, на весь класс: "Шею мыть не научился, а уже девчонок караулишь? Олеся круглая отличница и поведения примерного, в университет поступает без экзаменов, а ты куда? Разве что снова в село — свиней пасти?" И Петруня на всю жизнь возненавидел химию.

Класс поднялся и хором приветствовал гостей, едва они вошли в класс. На передней парте лежали три темно-красных георгина, в целлофане, дарить цветы будет, наверное, вот эта высокая, с белыми, словно отмороженными щеками отличница, кандидатуру которой тоже, наверное, утверждали на педсовете. Волнуется и ждет сигнала учительницы (возникла озорная мысль: поцеловать руку — она смутится и зальется румянцем, а в классе долго будут обсуждать это событие). Все пришли в белых фартучках, директриса обязала, мероприятие будут из редакции фотографировать, лицо школы, лицо класса, образцово-показательного, весь вечер накануне стирали и гладили фартучки, костеря какого-то там Петруню.

Молоденькая учительница волнуется, тянется на цыпочках, чтобы казаться выше и солиднее, от этого ноги ее становятся еще тоньше и не вызывают у Ярослава никаких эмоций. Сказать бы сейчас: "Дети, такой прекрасный день стоит, пошли вместе на бульвар и подышим ранней осенью, на скамейках под тополями, где я четверть века назад мечтал об Олесе и о побеге из школы на целинные земли..." Учительница постучала указкой по столу, призывая класс ко вниманию:

— Дорогие ребята, сегодня у нас — радостное событие. Мы встречаемся с нашим земляком, писателем, книги которого все мы знаем и любим... — учительница запнулась, покраснела, глянула в бумажку, зажатую в ладони, — ...писателем Ярославом Дмитриевичем Петруней. Это наша школа дала ему путевку в жизнь и большую литературу, и все мы гордимся этим, поддерживая славные традиции в учебе и поведении. Поприветствуем же нашего уважаемого писателя аплодисментами. — Учительница первая захлопала в ладоши, требовательно и строго оглядывая класс, особенно галерку, где ученики занимались своими делами — переписывали домашние задания, малевали друг на друга карикатуры, играли в морской бой или следили за фотокорреспондентом, прилаживающим свою аппаратуру. — А сейчас, дорогие ребята, с кратким докладом о жизненном и творческом пути уважаемого писателя выступит... — учительница снова посмотрела в бумажку, — ...литературовед и критик, активный член Общества любителей книги Иван Иванович Бермут. Попросим дорогого гостя...

Иван Иванович поднялся, отодвинув стул, на котором сидел, до самой классной доски, но все равно животом привалился к краю стола. По классу прошелестел смешок.

Вдруг Иван Иванович раскинул руки, словно собирался взлететь, круглое лицо его осветила блаженная, восторженная улыбка:

— Низкий поклон этим стенам, знавшим Ярослава Петруню в начале его жизненного и творческого пути, видевшим его в тот исторический, незабвенный для всей литературы день, когда на полосе районной газеты появились первые печатные поэтические строчки известного прозаика. Да, ныне он известный далеко за пределами республики писатель, но поэзия жива в каждой его строчке, в его душе, поэзия, что проросла и прорастет из древней и вечно молодой мринской земли-матушки…

Сладкое бремя славы, он в старых бурках, а может, башмаках, перекупленных отцом на базаре у фэзэушника за полпуда яблок, на большой перемене топает по школьному коридору, а возле окна, вокруг дочери районного агронома, толпятся девчонки, заглядывая в газету, и бросают заинтересованные взгляды на него, на Ярослава Петруню, именем которого — большими черными буквами — подписано стихотворение. А потом сын директора театра возьмет газетку двумя пальцами с хорошо ухоженными ногтями, найдет в стихотворении лишнюю запятую и будет мудро вещать о необходимости знания синтаксиса, как первейшего условия литературного творчества. Но сын директора театра все же не сможет теперь делать вид, что не замечает Петруню, когда они встречаются на улицах города, — даже пригласит его на свой день рождения. Тот день Ярослав будет долго помнить, сгорая от стыда, потому что впервые за праздничным столом возьмет в непослушные пальцы нож и вилку, и кусок селедки прыгнет из-под ножа, словно живой, на белое платье сестры именинника, в которую Ярослав влюбился с первого взгляда. Но — хватит, было ведь не только это, был выпускной вечер, на котором он читал свое стихотворение о широких жизненных

дорогах, открытых перед ними, и ни одной фальшивой строчки не было в тех стихах, потому что он искренне верил в то, о чем писал, и искренне волновался. А после торжественной части ребята и почти все девчата из их класса, в каждую из которых он по очереди влюблялся, сидели в классе, кто где пристроился на партах, подоконниках, и пели "Жди солдата", популярную тогда песню, и Ярослав знал, что уже никогда они не встретятся такими, как сегодня, и было ему грустно, тревожно и радостно, как никогда позже не было и не будет, потому что нет уже Валентин, Март, Тамар, Олесь, Андреев, Викторов, а есть Валентины Михайловны, Марты Ивановны, Тамары Семеновны и т. д., матери и отцы взрослых детей, а может, дедушки и бабушки, молодые деды и бабки, боже, как страшно! И есть он, Ярослав Дмитриевич, который в тех же стенах играет роль в бездарном спектакле по пьеске, написанной для него бездарным Бермутом. Играть и знать, что в душе он иной, иной! И мог бы что-то настоящее написать, ведь был талант, был! Если бы не разменял его на мелочи, не выменял на земные радости — какое символическое название моей пьесы! Не похоронил его в ворохе слов, за которые государство доверчиво и заботливо платит вперед звонкой монетой, независимо от того, продаст ли оно читателю твою книгу или она будет пылиться на полках книжных магазинов и библиотек, пока не спишут в макулатуру и не отвезут на картонную фабрику. Писатель — духовный пастырь народа, учитель народа. А чему научит народ он, насквозь фальшивый Ярослав Петруня? Словам.

— А теперь, дети, и мы скажем о творчестве нашего дорогого земляка свое благодарное читательское слово. У кого есть вопросы к уважаемому гостю, прошу задавать в письменном виде.

Три ученика, как по команде, поднялись и понесли к столу бумажки с написанными и утвержденными еще вчера

вопросами. Отличник и первый ученик — читалось на лице, — поправляя очки, сползающие с потной переносицы, в шаге от Ярослава, как орехи, щелкал:

— Талантливые книги Ярослава Дмитриевича Петруни, уважаемого нашего земляка, выпускника нашей школы, чем мы все гордимся, воспитывают в наших сердцах любовь к родной земле и неудержимое желание учиться только на "отлично" и показывать пример образцовой дисциплины в школе и общественных местах. Талантливые книги Ярослава Дмитриевича воспитывают в наших сердцах любовь к художественному слову, обогащают нас духовно, на примере таких героев, как…

На следующий день после выпускного вечера он уже ехал в Тереховку, а осенью встретил во Мрине, на автобусной остановке, двух своих одноклассников, оба в школе увлекались радиотехникой, мастерили карманные радиоприемники и теперь работали на радиозаводе и готовились в вечерний техникум. "А ты где?" "Я — в редакции газеты, в Тереховке", — ответил солидно. "А что там делаешь?" — "Критикую, воспитываю". Хлопцы глянули друг на друга и улыбнулись. "Кого ж ты критикуешь, воспитываешь?" — "Кого нужно… главным образом, отстающих и нарушителей общественного порядка". — "А галифе ты себе пошил?" — "Какие галифе?" — "Как у петуха…" Только здесь он понял, что над ним подшучивают, отступил на тротуар, тем временем подошел автобус, увез ребят, они стояли у заднего окна, смотрели на Петруню и смеялись, пока автобус не скрылся за поворотом. Сколько лет прошло, а до сих пор в ушах: "А галифе ты себе пошил?.."

Пошил.

— А теперь, дети, наш дорогой гость, известный писатель Ярослав Дмитриевич Петруня, расскажет о своей сложной творческой работе над художественными образами и поделится своими творческими планами на будущее. Попросим его бурными аплодисментами.

Ярослав медленно, под аплодисменты, поднялся, вышел из-за стола. Вспышка блица. Еще вспышка. Историческая минута. Класс притих. Даже в морской бой в эту минуту не играли. Даже домашних заданий не переписывали. Локаторы глаз фиксировали каждое его движение. Склонил голову на грудь, задумался. Пальцы рук сплетены. Одним глазом — на часы. Золотые. Любил их небудничный космический блеск. Выдержать нужную паузу. Борьба его воли с волей этой критически настроенной мелкоты. Наэлектризованная тишина. Слышно, как в батареях журчит вода, проверяют отопление, готовятся к зиме. До его зимы еще далеко. Больше уверенности в себе — и все будет в порядке. В тебя верят другие, пока ты веришь в себя. Поднял задумчивые, чуть грустные глаза. Только не переиграть, они теперь прозорливые, эти нынешние молодые. Расцепить руки, словно магнит от магнита отрываешь, решительный шаг навстречу классу. Голос — тихий, проникновенный, но с каждой минутой все больше пафоса:

— У меня такое чувство, словно отчитываюсь сегодня перед самим собою, шестнадцатилетним, и перед классом своим. "А что ты сделал хорошего за четверть века, когда ступил на самостоятельный путь?" — спрашивают глаза моих одноклассников. И я честно и искренне, без лишней скромности отвечу: "Могу отчитаться перед вами, дорогие мои одноклассники и ученики уже нового, вашего, поколения. Не осрамил я, надеюсь, чести родной школы, ее славных традиций, всего себя отдал созиданию духовной культуры для народа. Мои романы и повести — убедительное, хочется

думать, доказательство этому. Убедительное доказательство и ваше внимание, глубокое понимание написанного мною, что вы так чудесно продемонстрировали сегодня. Для писателя нет более счастливых минут, чем минуты встречи с благодарными читателями. Такие встречи вдохновляют литератора на новые творческие свершения и новые творческие победы, и я торжественно обещаю, как обещал когда-то на пионерской линейке, и впредь отдавать всего себя развитию нашей литературы".

Он уверенно направил машину в водоворот улицы, ведущей к гостинице.

— Позвольте напомнить, уважаемый, что мы опаздываем на обед с очень нужными людьми, — прогудел Иван Иванович, раскинувшийся на заднем сиденье. — А еще я жду благодарности — надеюсь, заслуженной — за встречу с читателями в стенах родной школы…

— Цветы завезем. В гостиницу.

Надеялся, что в гостинице его ждет Маргарита. Тоска — эти обеды с нужными людьми. Да еще когда нельзя выпить — за рулем. Маргарита — как приправа к обеду. Пряность к пресному вареву Ивана Ивановича.

— Я считаю, что встреча прошла на высоком уровне, — не сдавался Бермут. — Корреспондент едва успевал записывать. Я прослежу, чтобы в репортаже нашла должное отражение ваша общественная деятельность…

— Какая общественная деятельность?! Имейте вы, Иван Иванович, наконец хоть каплю совести! Я уже годами сижу либо у себя на даче, за железной оградой, либо в Доме

творчества. У меня уже страх перед нормальными людьми, не литераторами. Я могу видеть их только со сцены, только за глубокой оркестровой ямой. Вам первому признаюсь в этом страхе. Заехал на минуту в Тереховку — и удрал, удрал. Потому что в жизни — масса проблем, которые я сознательно не пускаю в свои романы. Право разговаривать с современниками откровенно приходится отстаивать, так всегда было и будет. А я не хочу отстаивать ничего, кроме права печатать мои книжки. Желаю производить исключительно розовую водичку, так спокойнее и выгоднее. Я бегу от общественной работы, как черт от ладана. За общественную работу не платят…

— Простите, уважаемый, но здесь все мы коммунисты, и ваши настроения…

— Не все, Иван Иванович, не все, не тешьте себя иллюзиями!

— Не преступайте границ, дорогой, я столько лет ношу партийный билет…

— Носить партийный билет и быть коммунистом — не одно и то же. Я понял это путем самоанализа.

— А что же, по вашему мнению, определяет коммуниста? — Бермут уже не сидел развалясь, он весь подобрался и дышал на Ярослава через плечо, как старый натужный паровоз.

— Образ мышления, а главное — образ жизни. Оказывается, можно мыслить правильно, а жить совсем иначе.

— А вы, Ярослав Дмитриевич? Вы что — святой?

— О себе в первую очередь и говорю. Но я существую уже больше по инерции. Как машина с выключенным двигателем на скоростной трассе. Мотор не работает, а резко затормозить — страшно. Знаете, меня даже подмывало спровоцировать класс на откровенность. Возьму и спрошу, а кто из вас прочел хоть одну мою книгу, поднимите руки? Но вот не спросил...

— И правильно сделали, что не спросили. Ни одна рука не поднялась бы. Все пришлось делать в спешке, встреча не запланирована. Дети все правильно поняли и сыграли свою роль блестяще, я считаю. А вы после всего становитесь на дыбы. Существуют, уважаемый, правила игры, и их надо придерживаться, если хочешь быть на плаву, а не пузыри пускать... Надо жить как все.

— И писать как все. Это я уже слышал. С таких вот слов я, нынешний, и начался.

— Не как все, я, возможно, не совсем точно выразился. Как другие, но немножечко грамотнее...

— Но ведь это ложь. И живут многие "не как все", и пишут "не как все". Гляньте, какая у нас сегодня литература! Сколько достойных имен! Вы элементарный циник, Иван Иванович!

— Я не циник, я — реалист. А вы, уважаемый, элементарный самоед. Однако, согласитесь, с тех пор, как вы живете по моим правилам, вы благополучный человек, легко взбираетесь на все жизненные вершины. А что вас мало знают и читают, так то не ваша вина, просто вас недостаточно рекламировали.

— Настоящим писателям реклама не нужна.

— Самокритика — вещь неплохая на определенных этапах, сегодня вы должны излучать уверенность и решительность, народ уважает победителей. А пораженческие настроения — это от нервов, уважаемый, от переутомления. Кстати, как вам выступления учеников?

— Неповторимы! Вы писали?

— Я — Бермут! Но — не вермут! — И захохотал.

Маргариты в гостинице не было.

6

Обедали в ресторане старой гостиницы.

Здесь все осталось, как и двадцать лет назад: в вестибюле деревянная подставка для чистки обуви, со щеткой и банкой ваксы; красные плюшевые шторы на дверях и устланные красными ковровыми дорожками марши; швейцар в форме с латунными пуговицами; столы покрыты белыми, в жирных пятнах скатертями, официантки их стряхивали, переворачивали и снова клали. Все было по-старому, но словно бы покрыто пылью; даже лицо старого швейцара — серое, будто снег, укрывшийся от весеннего солнца на дне оврага.

Руководство театра обедать не пришло: директора вызвали на какое-то совещание, а главный режиссер просил извинить его: через несколько дней новая премьера и, пока свободна сцена, он решил провести репетицию. Пришел лишь режиссер, ставивший пьесу Петруни, старый знакомый Бермута. В свое время много лет был он главным режиссером во Мрине и с тех пор сохранил внушительную осанку, немного надменную манеру разговаривать и привычку к угощению за

чужой счет: считал, что молодые авторы, пьесы которых ставит театр, должны его обхаживать как благодетеля. Теперь постарел, пил и ел мало, давление, гипертония, но наверстывал упущенное бесконечной болтовней за рюмкой, Ксеню и Ярослава он просто допек своими визитами в Киев, когда приезжал работать с автором…

— Грибки, икорка, язычок заливной, котлетка по-мрински, по пятьдесят граммов коньячку, я больше уважаю армянский, кофеек… Первого не берем, у нас — деловая встреча, пировать некогда, банкет будет вечером. Кто за холодную закуску и второе? Народ безмолвствует, как писал Пушкин. Единогласно. Скажу вам, Ярослав, откровенно: городской, культурный зритель на наш спектакль не пойдет, и ставку на него мы делать не станем. Кстати, обратите внимание — белые маринованные грибки, коронный мринский деликатес, чудо-юдо… Мы повезем спектакль сельскому зрителю. Если премьера пройдет успешно, а мы в этом не сомневаемся, благодаря несравненному Ивану Ивановичу, пьем за его драгоценное здоровье, надо сказать, он проделал громадную организаторскую работу, так вот, в случае успеха премьеры и надлежащего освещения в прессе создаем две творческие группы и спектакль, точнее — его выездной вариант, будем крутить по селам как кино. Мы берем с колхозов оптом, триста рублей за спектакль, а там — хоть перед пустым залом, это уж их забота.

— Конечно, пьеса специфическая… — закивал головой Петруня, натужно улыбаясь.

— Нет, нет, я не критикую. Конечно, как и каждое произведение, пьеса имеет свои недостатки. Возможно, вас упрекнут в незнании жизни современного села. Но я придерживаюсь той мысли — конечно, это глубоко между нами, — что, чем меньше ее знаешь, тем легче писать. И

ставить, кстати. Хлеб вырастет, простите, мы все знаем, из чего вырастает хлеб, так они что хотят — чтобы мы коровники на сцене построили? Возможно, вас упрекнут, что в пьесе нет проблем. Но людям хватает проблем — на работе и в жизни. Люди — что? Идут в театр думать? Люди идут в театр отдыхать! И мы им предлагаем культурный сервис — за денежки! А заплатил зритель денежки, он уже вправе требовать: развлеки меня, товарищ режиссер, чтобы я не скучал вечер, оторвавшись от телевизора, чтобы забыл о неприятностях на работе, и о скандалах с женой, и о неблагодарных детках. Вот так я считаю — конечно, не для печати… И здесь вы, Ярослав, в плюсах. Потому что пишете легко, искрометно, вы мне даете товар, который можно продать! И я его вставляю в определенную сценическую рамку и продаю. Что бы мне о вашей пьесе ни говорили, я знаю одно: вашу пьесу можно продать зрителю. Вот почему я ухватился за вашу пьесу и одновременно помог театру заполнить графу "работа с молодыми драматургами". Конечно, вышел я на нее благодаря рекомендации дорогого Ивана Ивановича, посему и предлагаю вторично выпить за его драгоценное здоровье. Он нас благословил на совместную творческую жизнь. И я считаю, что она будет долгой и плодотворной, потому что в нашем с вами, Ярослав, творческом почерке много общего…

— …Не знаю, можно ли воспринимать как комплимент то, что вы называете мою пьесу товаром, но действительно не завидую драматургу и режиссеру, на спектаклях которых зритель дремлет.

— Ах, оставьте, Ярослав, не нужно позы, бога ради, не нужно! Вы меня извините, но за это я недолюбливаю многих ваших коллег. Я творю искусство, я служу народу, я поднимаю проблемы, я борюсь с тем, я борюсь за это!.. Так выступай в газетах, в сатирических журналах — "Перец", "Крокодил" — и служи, и борись. А театр — это карнавал, это праздник! И

книгу, кстати, я беру в руки не для того, чтобы спать над ней. Сименон ни за что не борется, а прочтешь страницу — и уже не оторвешься. Вот это литература, вот это профессионал! И вы по-своему профессионал! Вы создаете иллюзию жизни, красивую иллюзию. Иногда вам еще недостает динамичного сюжета, но — набьете руку, это придет. Больше трезвого, холодного расчета — схватить, задеть читателя за печенку, чтоб он лихорадочно ждал, а что дальше, кто с кем? А что касается денег, не будем же, наконец, провинциалами: только сумасшедшие не думают о деньгах, все великие писали, чтобы заработать себе на хлеб с маслом. Иван Иванович, как литературовед, подбросьте соответствующие фактики.

— Александр Сергеевич Пушкин: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать", Бальзак, Чехов… — Бермут раскурил сигару и выпустил кольцо дыма. Кольцо повисло над его лысой головой сизым нимбом. За ресторанным столиком он благоденствовал.

— Но ведь наши идеи… — вяло защищался Ярослав. Ему хотелось напиться. Ладно, на банкете. Снимет все напряжение дня, проклятого дня, который его пожирает.

— Стоп! Дальше я вам запрещаю говорить, дорогой Ярослав! Вы что думаете — я обхожу наши идеи? Слышишь, Иван Иванович, он думает, что мы с тобой недооцениваем наши идеи! Вы этого не говорили, мы этого не слышали. Так вот: идеи были и будут на первом плане! Но их мы преподносим зрителю в доступной и веселой форме! А доступная форма — это легкая форма. Не рассчитывайте, дорогой Ярослав, на философов и социологов, их единицы, они нам кассовый сбор не обеспечат. А я идеи за версту чую, я старый волк по части идей. Анализирую ситуацию и выдаю прогноз: скоро все мы повернемся лицом к селу. Я предчувствую высокую волну, нам с вами нужно первыми на

нее вскочить! И она понесет нас к желанному берегу: навстречу премиям, орденам, гонорарам! Только бы успеть. Гении — литературные и театральные — не мобильны. Будут долго думать, изучать, потом творить… А что говорит русская пословица? Она говорит: хороша ложка к обеду. Развернется кампания, а на высокой волне никогошеньки, только мы с вами, первые, единственные: сценичное, легкое по форме, исключительно положительное по содержанию действо на фоне современного села. Современный сельский водевиль! С переодеваниями! С пикантным адюльтерчиком! С танцами и песнями, с музыкой, признаюсь, Иван Иванович знает, музыка — мое давнее хобби. И непременно в конце пьесы свадьба, улавливаете, подвожу под графу — новые сельские обряды, что и требуется. Поцелуй в диафрагму — и пусть себе глумятся далекие от жизни критики, а массовый зритель это любит. Не ковыряйтесь в общественных болячках, оставьте для литературных идеалистов иллюзии, что с помощью авторучки они улучшат этот грешный и неисправимый мир. Пьеса должна быть у меня на столе через три месяца, время не ждет, мы опередим всех! Вот бланки договора, вам, Ярослав, остается лишь поставить свою подпись. И в начале будущего года показываем спектакль! С руками оторвут на всех уровнях! Если вы, конечно, напишете в своем жизнерадостном ключе, не погонитесь за столичной модой, не вытащите, извините, онучи на сцену…

— Тут перспектива, — словно припечатал Бермут. — Соглашайтесь, Ярослав Дмитриевич, и не думайте. Я обеспечу рекламу на столичном уровне. Еще не все забыли добро, которое в свое время делал для них Иван Иванович Бермут. Верно, не вдавайтесь во всякие там жизненные реалии, в бескрылый реализм, тут необходим полет фантазии, ваше умение писать красиво, броско и мыслить масштабно. Александр Петрович Довженко, которого я знал лично, любил меня и говорил так: "Ванечка, ты пойдешь далеко, потому что

ты умеешь видеть в лужах прежде всего звезды..." К сожалению, завистники не дали пойти. Так вот вы, Ярослав Дмитриевич, тоже умеете видеть звезды — так достаньте их себе, нам!..

Хотя бы одну осень, когда ему лучше всего пишется, не спешить: не гнать строки, не прикручивать себя гайками к стулу (тереховское выражение), не насиловать душу и мозги: заказ театра — ему уже не двадцать и даже не тридцать, чтобы откладывать на будущее то, что он мечтал написать — настоящее, единственное. Уже полжизни откладывает — или теперь, или никогда — спектакль на горячую тему дня, когда еще не будет других спектаклей, заметят в Киеве, возможно — премия — а потом, когда придет успех, будут деньги, можно наконец осуществить то, о чем давно мечтает; забиться в глушь, где его никто не знает, снять хату на полгода, на лето, на осень, и пожить среди людей. Увидеть их. Ведь все, что он знал про село с детства, давно писано-переписано. Но это после, когда напишет пьесу. Месяц работы, чтобы настучать шестьдесят страниц — и пьеса готова, он быстро пишет, ну пусть три месяца, с доработками по замечаниям театра — гонорар — по наивысшей ставке, здесь уж он будет диктовать, по крайней мере, одна проблема будет решена — проблема канадской дубленки Ксени и гаражный кооператив. Другого такого случая может не быть...

— Другого такого случая не будет, — прочел его мысли Бермут. Он все еще пускал дым кольцами, словно чертил циркулем, кольца плыли на режиссера и зависали над его головой, и сквозь этот нимб над импозантной сединой вырастала белыми залысинами пара острых рожек. Лицо старого лицедея, разъеденное гримом, колебалось в дыму, наплывало кошмаром...

— Не уговаривайте меня, я уже устал от пустой писанины, не могу!.. — вырвался крик, даже Бермут, оторвавшись от котлет по-мрински, поднял глаза на Ярослава.

А рука сама потянулась через стол — за бланками договора.

Почувствовал, что ненавидит себя.

И подписал, только бы скорее со всем этим покончить и увидеть Маргариту — единственное, что у него осталось.

Все остальное — враздрай…

Около гостиницы их ждал "рафик" телевидения. В "рафике" нервно курил молодой бородач, увешанный фотоаппаратами.

— Товарищ Вермут, или как там вас. Еще час — и я не отвечаю за качество заказанных вами снимков и сюжета для телевидения. Позволю себе напомнить, что у меня есть и другие срочные задания.

— Не за все задания платят наличными, уважаемый, как, осмелюсь напомнить, плачу я. Товарищ писатель задержался на генеральной репетиции, надо понимать. Но сейчас мы немедленно выезжаем и сделаем исторические снимки, с которых вы будете стричь купоны всю жизнь. Довожу также, уважаемый, до вашего сведения, уже, кстати, не в первый раз, что я — не вермут, а Бермут, и ваша оговорка, если она не сознательна, характеризует образ ваших мыслей. Езжайте следом за нами, на широкие колхозные поля. — Иван Иванович повернулся К Ярославу: — По плану у нас, Ярослав Дмитриевич, фототелесъемки на тему: "Писатель приглашает

односельчан на спектакль". Гоните через Шептаки на пакульские поля, пока дневное освещение дарит нам необходимое количество света. Мы все же затянули с обедом и выбились из графика.

— Как все обрыдло! — Петруня склонил голову на руль. — Спектакль, спектакль…

— Вся наша жизнь — спектакль, уважаемый. Для вас же стараюсь, честно отрабатываю аванс. Когда-то Иван Бермут сам мечтал о славе, теперь живет исключительно для вашей.

— Хорошо, но уж это — в последний раз.

— В последний, в последний, уважаемый…

— И забегу на секунду в гостиницу.

— Девицы загубили не одну литературную карьеру, уважаемый… Без этой исторической фотографии отчеты о премьере будут бледными, а Маргарита от вас никуда не убежит. Дай бог вам от нее убежать…

— Не пошлите, Бермут. Маргарита — недопетая песня моей юности.

— Песни юности нужно петь смолоду, потом может не хватить голоса…

— У меня еще достаточно голоса, не волнуйтесь…

Он пружинисто пересек тротуар, поднялся на крыльцо.

В вестибюле Маргариты не было. Ждет его в холле, на втором этаже? Маргариты не было и там. Ясно... У нее и помоложе хоть пруд пруди. И откуда взялся на его голову этот Бермут с его бездарной комедией. Боже, что за провинциальщина в этой гостинице! Удрать бы сейчас в Киев, и провались эта премьера, ничего ему не нужно. Сесть в самолет — и в Адлер, а там полчаса на такси — и Пицунда. Дом творчества. Бархатный сезон. Балкон — к морю. Нежиться на ласковом осеннем солнышке и дышать морем. Имеет же он право на отдых. По двенадцать часов за пишущей машинкой. Слова, слова, слова...

Продавец слов.

Едва волоча ноги, уставший, враз постаревший, Петруня вышел на крыльцо и — увидел Маргариту. Она бежала через перекресток, наперерез машинам, повизгивающим тормозами, но повизгивание не было сердитым, потому что сердиться на нее невозможно: длинноногая, с распущенными, до плеч, светлыми волосами, в широкой светлой блузке, смело открытой спереди, поверх вельветовых джинсов, таких узких, что бедра казались основой лука, а медная застежка-"молния" — стрелой. Он увидел Маргариту — и снова захотел жить. Возвращалось острое, трепетное ощущение жизни, как когда-то в Тереховке душными, летними вечерами, на еще теплой после жаркого дня улице, по которой только что прошла стайка девчат.

— Приветик!

— Господи, я едва с ума не сошел, ожидая вас — Он жадно, словно целую вечность не касался женского тела, целовал ей руки, на тротуаре, среди обтекавшей их толпы.

— Ой, в театре такое делается, две премьеры одна за другой, да еще и банкет сегодня. У вас губы как угли…

— Забежим на минутку в гостиницу…

— Минуты мне мало, а на больше нет времени, ваш противный импресарио уже катит к нам, быстрее целуйте — здесь.

— Я такой, что могу и на улице…

Но Бермут уже взял их под руки и повел к машине:

— Я, уважаемые, не вмешиваюсь в ваши интимные отношения, однако морального падения на глазах общественности одобрить не могу. Расписывая сегодняшний день известного писателя Ярослава Петруни, я предусматривал час для лирического разговора с Маргаритой как представительницей молодого актерского поколения. По графе — работа с творческой молодежью…

— А может, молодому актерскому поколению часа мало? — засмеялась Маргарита и привычно, словно делала это по сто раз на дню, скользнула в машину, на переднее сиденье. Бермут, покряхтывая, протиснул свои телеса через заднюю дверцу и с облегчением откинулся на сиденье.

— Я тоже был когда-то молодым и иногда, когда позволяли обстоятельства, шалил, но часа мне всегда хватало, потому что я больше думал про общественное, чем про личное.

— Оставьте, Иван Иванович, вашу демагогию, — сердито сказал Петруня. Машина легко набрала скорость, словно и ей присутствие Маргариты придавало силы. — У меня теперь

только и радости — подсчитывать будущие гонорары и смотреть на хорошенькую женщину. Не отбирайте у меня хоть этого! Вы и так достаточно у меня отобрали!

— Я, уважаемый, только к слову… — присмирел и затих, словно его и не было в машине.

Ярослав дал прикурить Маргарите и закурил сам. Резковат он с Бермутом. Вспышка. Минута без грима. Появление Маргариты вывело его из равновесия. После съемки он отправит Бермута с "рафиком" и останется с Маргаритой. Да и сейчас в машине нет никого, кроме Маргариты. И еще — мальчика в бурках, с самодельными красными галошами, влюбленного в одноклассницу Маргариту, дочку председателя шептаковского колхоза. Он нашел ладонь девушки, поднес к губам, нежно поцеловал. Ногти на руке длинные, ярко-красные, кусочки мяса на кончиках пальцев. У той, которую он любил, ноготки были белые, короткие, обгрызенные, она грызла ногти на уроках, а он лихорадочно придумывал причину, чтобы обернуться и еще раз взглянуть на нее, он сидел впереди и нарочно забывал дома ластик, линейку, циркуль, чтобы поворачиваться по сто раз на день. Его пересадили в другой ряд, и Ярослав теперь смотрел на Маргариту сбоку, нежный овал щечки, черные брови, полные губы, смеющиеся лучистые глаза. Потом, когда они ходили с ней в ресторан во Мрине, она была и размалевана, и разодета, как эта нынешняя Маргарита, но запомнилась сельской девчонкой.

Вербы мчались навстречу желто-зеленым эскортом. Нет, эскорт — сопровождает. А вербы принимали парад. Парадом командую я, Ярослав Петруня, известный, талантливый, перспективный. И он же, Ярослав Петруня, идет по обочине, в своих незабвенных бурках, в фуфайке, в солдатской шапке с висящими ушами-отворотами, за плечами торба, в ней кусок

старого сала, венок лука и трехлитровый бидон молока. Неужто это действительно он?

— Иван Иванович, деликатно закройте глаза, а вы, Маргарита, немедленно поцелуйте меня! — приказал. — Немедленно, иначе я не гарантирую безопасность пассажиров.

— Я не вижу ничего, кроме стрелки спидометра, которая полезла за стокилометровую отметку, — прогудел Бермут, но глаза закрыл — пухлой белой ладонью, Маргарита наклонилась, поцеловала Петруню, чуть коснувшись губами. Она пахла сигаретами и французскими духами.

Компенсация — мальчику в бурках, с торбой за плечами.

Через столько лет.

Горько усмехнулся.

— Благодарю. Положи руку на плечо. В тебе есть что-то магнетическое.

— Ой, мне еще никто такого не говорил!

— Что, уважаемые, могу отметить положительного в своей жизни: никогда не афишировал отношений с женщинами. И поэтому благополучно дожил до пенсии.

— Досидели, а не дожили.

— Уважаемый, муха жужжит, когда попадает в паутину. А мудрая, осторожная муха весь век сладко ест, сладко пьет,

сладко грешит, но ее не слышно, не видно. Мораль басни небесполезна для вас, Ярослав Дмитриевич.

— Еще одно слово про мораль — и я высажу вас из машины, уважаемый товарищ Бермут. Позвольте мне хоть в отношениях с женщинами быть самим собой!

— Молчу, уважаемый, молчу.

Не сбавляя скорости, проскочил Шептаки. Пусть видят. Кто пусть видит? И — на пакульскую дорогу, хоженую-перехоженую его детскими ногами. Скоро — пакульские поля. Настроиться на съемки. Надо сделать дело. Он — деловой, энергичный, настырный, его энергии и напору завидуют. Потом, наедине с Маргаритой, будет лирика. У дороги, подминая высокую, заросшую сорняками ботву — лето было дождливое, — по свекольной плантации полз комбайн, за ним — автомашины, два самосвала стояли возле бурта, вокруг бурта — женщины в фуфайках.

— Бураки подойдут для исторических съемок?

— Прекрасно, уважаемый! Свеклоуборочный комплекс! Машины как фон, а на переднем плане передовые труженицы. Пусть делает фотографии и заодно — на телек! — Ярослав притормозил, Бермут вылез и понес свое пузцо навстречу "рафику".

— Уважаемый, уважаемый! Прекрасный произвдет по полодственный фон, снимай на телекамеру — приезд писателя в родные края, ию, подходит к свеклоуборочному комплексу, разговаривает с прообразами своих героев, интересуется достижениями тружениц, десятиминутку по второй программе я гарантирую. Затем отбираем представителей трудящихся

для фотоснимков: писатель приглашает земляков на премьеру. Работаем без репетиции, солнце нас не ждет, зайдет за тучу, и все. Мы не имеем права рисковать! Ярослав Дмитриевич, на сцену, то есть — в поле. Быстрее, быстрее! Внимание, телекамера! Писатель медленно, задумчиво идет по полю, на его лице — высокая дума об урожае. Затем крупным планом — лица хлеборобов!

Иван Иванович суетился, покрикивал на всех. Он — главнокомандующий. Автор спектакля о Ярославле Петруне. Ярослав Петруня всего лишь исполнитель сочиненной для него роли. Он хорошо помнил вечер, когда впервые позвонил Бермут. Они только что вернулись из оперного театра, с премьеры балета киевского композитора, было много известных людей, Ксеня еле достала билеты. Такие сборища ее возбуждали, в кругу литераторов, людей искусства она чувствовала себя счастливой. По дороге домой Ксеня вслух мечтала о премьере по пьесе Ярослава в киевском театре. Ярослав ее понимал: быть хотя бы один вечер в центре общества, принимать поздравления, готовить банкет, решать, кого пригласить, кого обойти вниманием, встречать и провожать гостей — вся эта суета казалась ей такой значительной! Ярослав отмалчивался. Пьесу он действительно написал, ее с трудом приняли в коллегии по драматургии, размножили на "Эре" шестьсот экземпляров, разослали по театрам, но ни один театр ею не заинтересовался. Провинциально, поверхностно, мелко для нашего времени. В глубине души Петруня это понимал и, может, поэтому так разозлился на одного из рецензентов коллегии, который, отметив остроумный диалог, писал: "Странно, что такую пьесу написал наш современник, сравнительно молодой человек. Кого удивишь сегодня филологическими упражнениями и литературной грамотностью? Зритель идет в театр, чтобы вместе с драматургом, режиссером и актерами подумать над серьезными общественными проблемами, которые всех нас

волнуют, через глубокие народные характеры познать эпоху. Пьеса же "Земные радости" напоминает перепев античной идиллийки с пастухами и пастушками плюс, конечно, чисто внешние аксессуары сегодняшнего села, о которых автор, кажется, знает лишь по газетам". С рецензентом Петруня перестал здороваться, но от этого пьеса не стала современнее. И вот — звонок Бермута, поздний и неожиданный, учитывая отношения, которые сложились между ними еще давно. "Вы знаете, Ярослав Дмитриевич, я — человек деловой и поэтому без лишних преамбул предлагаю вам, уважаемый, премьеру во Мрине. Ставить пьесу будет мой давний друг. Представляю себе премьеру как всенародный праздник чествования дорогого земляка, в областном масштабе, конечно. Всю организацию беру на себя. От вас требуется только, вы сами понимаете..." Петруня понимал. Среди драматургов о Бермуте ходили глухие слухи... "Кто звонит?" — глазами спросила Ксеня. "Бермут предлагает премьеру во Мрине, а себя — платным импресарио", — ответил, прикрыв трубку ладонью. "Соглашайся, хотя бы деньги будут..." Премьера во Мрине интересовала Ксеню лишь с финансовой стороны, во Мрин не пригласишь общество, которое она могла бы собрать в Киеве, кто поедет во Мрин? "Но ведь — Бермут..." "А что тебе с ним — целоваться? — Ксеня стелила постель. — Лишь бы лил воду на твою мельницу". — "Грязную воду". "Чистой воды практически не бывает. "Проблемы экологии — насущные проблемы человечества", — процитировала заголовок статьи, кажется из журнала "Курьер ЮНЕСКО", она и журналы теперь читала лишь те, подписка на которые стала дефицитной. И он дал себя уговорить...

— Идите, идите к хлебодарам! — кричал Бермут.

— Книгодар идет к хлебодарам... — сыронизировал, демонстрируя внутреннюю независимость, но все же — пошел.

Шел медленно, задумчиво оглядывая плантацию, руки в карманах кожаного пальто, но на середине поля руки из карманов вынул, заложил за спину, так серьезнее, внушительнее: писатель думает про урожай, думы о судьбах народных, а телекамера стрекочет как сорока, оператор семенил сбоку, потом опередил, обежал женщин у бурта свеклы, и теперь Ярослав, рекламно улыбаясь колхозницам, шествовал прямо в объектив.

— Добрый день, дорогие землячки! Как работается?! — Бодрая осанка, бодрое лицо, улыбка во все лицо, реклама: чистите зубы "Мятной" пастой; нравиться он умел, когда нужно, особенно женщинам, в век перенаселения планеты коммуникабельность — счастливый дар судьбы. А камера стрекочет, стрекочет. — Бог в помощь!

— Бог поможет или нет, а вы садитесь возле нас и помогите!

— Работается, как говорится, лишь бы отбыток отбыть да копейку добыть.

— Ты что языком мелешь, чужой человек — что подумает…

— Как это чужой человек! Это же Ярослав! Я сразу узнала, у меня его портрет в книжке есть. Давали под крахмал в нашей лавке его книжку.

— Какой Ярослав?

— Да Петрунин же, старой Петрунихи пасынок. Што писателем в Киеве работает.

— А у меня его книжки нету. Крахмал сама тру, магазинного не признаю. А по радио когда-то слышала, вроде говорили.

— Ишь как откормился в Киеве. Наверное, и машина его. На доброй, видать, службе. А такое тут голоштанное и недокормленное бегало.

Кое-кого из женщин Ярослав помнил. Молодыми. Невестились, когда он, пацан, подглядывал из-за тына за парами, обнимавшимися на лавочках. С двоими даже ходил в школу. Теперь это были ширококостные, с густыми бороздами морщин на лицах сельские тетки. Про себя порадовался, что Маргарита осталась в машине, приняли бы за дочку. Не надо, не надо было играть это представление по Бермутову сценарию — вспыхнуло, но усилием воли он пригасил эту искру (камера стрекотала) и продолжал изображать "своего парня". Нагнулся, взял из кучи бурак, взвесил на руке, следя за своим лицом, степенным и задумчивым:

— Будете, женщины, с сахаром.

— Сахар будет, и самограй будет!

— Мой уже допытуется, когда премию за бурак выпишут. Ты, проклятый, говорю, и без премии не просыхаешь. Как дома — вроде и человек, а с работы на карачках приползает.

— А мой вчера и бражку выхлестал... Гори ты синим огнем! Случаем, вы там, в столицах, зелья такого не сочинили, штоб наших мужиков от водки отвадить?

— Да теперечки уж и женщины приучаются. Вон Маричка сколько лет своего ненаглядного от лавки тачкой возила, а ныне и сама — напьется и окна бьет…

— Уважаемые хлебодарки! Ваш дорогой земляк, талантливый писатель Ярослав Петруня написал пьесу "Земные радости" о прекрасном сегодняшнем селе и приехал пригласить вас на премьеру во Мринский областной театр! — Бермут подкатился к бурту, камера стихла, Ярослав бросил свеколину на кучу, расслабился, передохнул. — А меня зовут Иван Иванович Бермут. Но — не вермут!..

— Хи-хи-хи!

— Вермут — знаем, а про Бермута слуха не было.

— Мы вермута не пьем, чистенькую уважаем.

— Ну и пузень, как на последнем месяце.

— Ей-богу, тройню родит…

— А спроси-ка, спроси: как вы, дядечка, через свое пузо ширинку застегиваете?

— Тю, глупая, одни ширинки в голове!

— А тебе что, отширинилось?..

— Женщины, дорогие, про ширинки — потом, я еще у вас в Пакуле буду, кто пригласит в гости — не откажусь, все наедине расскажу, а пока что прошу внимания и вашей помощи. Станем полукругом и все смотрим на уважаемого

земляка. Зафиксируем для истории, пока солнце не спряталось за тучу, волнующий момент единения хлеборобов и творца духовных ценностей, рожденного вашей благодатной землей...

Наконец фотоаппарат сделал свое дело. Солнце, будто только и ждало окончания исторических съемок, юркнуло за тучу. Бородач укладывал в кофры свою технику и готовился к отъезду. Женщины усаживались на перевернутые плетенки с ботвой. Ярослав обнял Бермута за широкие, массивные, как надгробная плита, плечи и очень тихо сказал:

— Иван Иванович, сейчас вы сядете в "рафик" и дадите мне отдохнуть от вас хотя бы пару часов. Обещаю, что за это короткое время я по вас очень соскучусь и ровно в семь буду в фойе театра, где меня встретят под вспышки блицев очаровательные артистки в украинских костюмах, с караваем на рушнике...

— Уважаемый!..

— Так нужно для дальнейшего развития родной словесности, о которой вы печетесь всю свою такую, к сожалению, долгую жизнь. Вы очень спешите в театр к своему другу-режиссеру. И к почитателям таланта Ярослава Петруни, которых надо подготовить к ответственным выступлениям на всенародном обсуждении сегодняшней премьеры. А сам Ярослав Петруня задержится у дорогих земляков на широких колхозных полях — таково официальное объяснение прискорбного факта, что вам придется пересесть из роскошной "Волги" в прозаический "рафик".

— Уважаемый, позвольте короткое заявление...

— Не позволю. На данном этапе спектакль веду я!

— В таком случае я снимаю с себя ответственность за ваш общественный авторитет!

— А вас уполномочивали нести ответственность? Да в вас вопиет элементарнейшая зависть...

Бермут сунул в рот сигару, словно положил под язык спасительную таблетку валидола, и молча двинул через поле к дороге. Проглотив его, "рафик" развернулся и запылил к Шептакам. И с каждым метром дороги, которую преодолевал "рафик", душа Ярослава оживала, освобождаясь от гнета Ивана Ивановича. Он больше не марионетка в пухлых, короткопалых руках Бермута. Он принадлежит сам себе. Роль писателя сыграна, можно стереть грим, расслабить мышцы, не изображая на челе высоких дум про народ, можно по-настоящему к нему приблизиться и подумать о нем. Не опуститься, а подняться к этим вот женщинам в фуфайках, которые из года в год, изо дня в день роются в земле, чтобы у него на столе в индийской сахарнице всегда был сахар. И хлеб в немецкой хлебнице. И что положено к хлебу — в японском холодильнике. Через несколько минут он уедет отсюда, на премьеру, потом — в Киев, из Киева, возможно, в Сингапур и на Цейлон, выходил, выклянчил — по кабинетам, обещали включить в группу, а женщины в дождь и в снег не покинут это поле, пока ни одного корня бурака не останется. Выразить им свою благодарность, уже без объектива и газеты; в нем — кровь народа, душа народа. Снова — патетика. А может, это привычка мыслить высокими понятиями. Высота духа. А что, если Бермут — у меня в душе? Стоп. Запретить. Без слов. Запретить слова. Омыться в народном целомудрии. Снова. Пусть Маргарита минуту подождет. Ярослав перевернул плетенку, постелил платочек — к вельвету все цепляется, отвернул полу плаща — кожа деформируется, присел возле колхозниц.

— Ну и как же, Ярослав, поживаешь? — спросила пожилая женщина, поблескивая металлическими зубами, теперь вспомнил — жила над оврагом с немым пастухом, больше ничего не помнилось.

— В работе, в хлопотах, — вздохнул.

— Квартиру дали?

— Дали.

— А сколько ж деток?

— Один, сын.

— Так, может, квартирка тесная, что больше не расстарался?

— Некогда воспитывать, жена — в театре, я за своими бумагами света не вижу.

— Конечно, теперь что в селе, что в городе работать надо. Но ведь добре, когда деток много. Ко мне вон как посъезжаются с внуками — что семечек в гарбузе. Сынок есть, надо бы еще и дочечку. Она б не мешала, и не заметили бы, как выросла. А денег всех все одно не заработаешь…

— А возле машины — никак жинка твоя ждет?

— Нет, это переводчица, из Москвы, — сказал первое, что пришло на ум. — Работаем вместе.

— А мы-то думали — жена, да гордитесь подойти.

— Я ж говорила, бабы, молода больно…

— А жена, што ж, не ревнует? С энтими, с переводчицами разъезжаете?

— Она у меня понимает специфику работы, — засмеялся Петруня, но смех получился деланным. — И доверяет мужу.

— Доверяй, да проверяй.

— Нету таких, чтоб не ревновали, ваша, видать, прикидывается.

— А вы б эту свою перекладачку[6] в лесок свозили — ох и грибов там теперечки!..

— Дак она ж в штанах — покуда тот гриб найдешь…

— Ох, они теперь все шустрые, напрактикованные.

— Ну, бабоньки, и разбалакались вы, дай вам бог здоровья. — Петруня поднялся. — Ехать надо. На часок всего вырвался. Себе не принадлежу.

Подъехала машина со свеклой. Из кабины вышел шофер, подал руку:

— Здорово, Ярослав. Едва признал. Что, думаю, тут за министр похаживает. Да и то, сколько годков не виделись!

— И впрямь много. — Петруня лихорадочно соображал: кто такой? Кажется, в пакульской школе учились вместе.

— Читал, читал, ты теперь по белу свету — как мы по пашне. А только скажу тебе честно, село свое зря обминаешь.

— Да некогда, поверь, в гору глянуть, — заспешил Петруня. — Работа, общественные поручения, семья, и поездки, поездки, хоть разорвись! Сколько лет мечтаю вот так приехать и осенью, хоть месячишко, пожить под стрехой…

— У нас теперь не больно под стрехой и поживешь, у твоей матери, да еще две-три хаты на все село, а то все — железо или шифер, понастроились, слава богу.

— Сколько раз писал мачехе: достань шифер, деньги вышлю.

— Рассказывала, писал, но только тебе легче расстараться насчет шиферу, ты ведь теперь к начальству ближе, попросил бы — сделали. А деньги — они теперь у всех есть, а шифера на всех не хватает, достают кто как может.

— Как-нибудь приеду — займусь. А сейчас в театре ждут, — вздохнул Ярослав. — Приезжайте на спектакль.

— Приедем, критику наведем, — пообещал шофер, садясь в кабину. — А только и ты села своего не забывай: пуповина твоя здесь закопана и соками этой земли ты напитан. Наших берез не забыл еще?

Только теперь узнал Ярослав в шофере сына пакульского лесника Сашка Бурсиму! Отец Ярослава тогда торговал в сельской лавке, где-то в конце сороковых еще морс продавали, напиток детства Ярослава; у соседей на свадьбе — бочка морсу, черпали медными, из снарядных гильз, кружками, а отец разводил морс в ведрах, красный порошок — колодезной

водой, наливал бочонок с двумя затычками — и на подводу, еще пряники в фанерных ящиках и конфеты-подушечки, и ехали на болото, к косарям.

Отец в белой полотняной рубашке, с капельками пота на лысине, немногим старше годами, чем он, Ярослав, теперь, ощущение праздника на всю жизнь, ватага косарей — под лесом, шмелиные соты, косари угощали, шмели гнездились во мху. А на обратном пути заезжали на хутор, к леснику Бурсиме, с которым отец дружил, белая березовая роща у двора, пронизанная солнечными лучами. Отец с лесником выпивали по шкалику, и Ярославу всегда что-нибудь лакомое перепадало, чашка молочного киселя, или кусок запеченного сыра, или…

Нигде он так вкусно не ел, как в те годы у лесника, изголодавшийся, без матери, беспризорный. А лет семь тому Сашко написал ему в Киев, взял у мачехи адрес. Так и так, ты пишешь книги, а отец мой прослышал и хочет рассказать тебе свою жизнь, прошел он гражданскую, финскую и Отечественную войну, партизанил у Ковпака, и знает травы, какие от каких болезней, и про зверей лесных, и еще много всякой всячины, и песни старинные, и еще много чего знает, и не хочет все это забирать с собой, а просит, чтобы ты приехал и послушал — может, книжку какую напишешь, пусть люди читают, чтоб не забывалось. Ярослав и думал приехать, но все откладывал с осени на весну, с весны на осень, пока совсем не забылось, кажется, так и не ответил Сашку…

— Конечно же помню, такое не забывается, такое на всю жизнь! — Снова Бермутова патетика, но другие слова не приходили. — И об отце твоем помню, вот заканчиваю новую книгу и обязательно вырвусь, запишу…

— Уже не запишешь, умер отец… — Сашко включил мотор. — Ну, бывай здоров.

— Помер старый Бурсима, помер, — запричитали женщины. — Вот уж три года будет, как помер.

— А у того было что рассказать.

— Ох и книжка была б!

— Напереживался человек на веку своем, видел свет.

— Он такой, и с деревьями говорил, как с людьми.

— И людей не обходил.

— Каждому мог характеристику дать.

— У него слово всегда в запасе было.

— И про минувшее, и про нонешнее.

— А я ж его в последние часочки видела. Бегу мимо двора, сидит на лавочке. Белый, как его березы. Давай, говорит, молодица, я тебе сказочку расскажу. Еще моя бабуся сказочку ту сказывала, а может, и своего прибрешу чуток. А я в лавку за селедками спешила. Отмахнулась от деда. Прибегла в лавку, а селедок уже и нету. Пока с бабами языками поплескала, бегу назад, а уже, говорят, деда Бурсимы нету на свете, сидел-сидел у двора, да и помер, сердце остановилось. Захожу в хату, а он лежит на лавке, неприбранный. Еще как живой, а только уже свечечка в руках, и уста на веки вечные замкнутые, сказочки не скажут. Так я аж заплакала, что через

те селедки человека живого не послухала. У него ж на сердце уже было — кому-то рассказать, чтоб в могилу с собой не унесть. Теперь не вернешь — не воротишь…

Слова женщин жгли, забирали за живое.

Ярослав бежал.

В машину.

7

С силой хлопнул дверцей, будто за ним действительно гнались. В динамиках на заднем сиденье гремела новомодная музыка. Маргарита включила магнитофон, японский, стерео. По экранчику телевизора беззвучно, как рыбы в аквариуме, бегали футболисты, вчерашний матч, в записи. Ласковая мягкость меха, устилающего сиденье. Талисман на стекле — пластиковая кукла с пышными формами, в бикини. На заднем сиденье — журнал "Америка" и три экземпляра его последнего романа. Его мир, микромир, его дом. Наполненный табачным дымом, словно химпалатка во время занятий с противогазом.

— Не задохнулась? — Опустил стекло. — Прости, задержался. Слава — обременительная штуковина.

Маргарита, казалось, не слышала. Откинувшись на спинку сиденья, нога на ногу, сигарета, глаза прикрыты, она слегка подергивалась в такт музыки всем телом, от ярко-красных ногтей на пальцах ног до валика волос на затылке. Петруня пригнулся, чтобы не видно было с поля, и стал с жаром целовать ноги девушки, через теплый вельвет штанин. Маргарита лениво потянулась, словно пробуждалась.

— К чему этот театр средь бела дня? — И отодвинулась к окну. Загасила сигарету, зажгла новую. Ярослав включил скорость, медленно отпустил сцепления. Машина тронулась, и вместе с машиной тронулся его микромир: магнитофон, транзисторный телевизор, мех на сиденьях, Маргарита, американские сигареты, привычный, уютный, теплый мир, им придуманный и взлелеянный. А мир, давно ему чуждый, от которого когда-то бежал в Тереховку, во Мрин, а потом — в Киев, мир, который для него ассоциировался с сырым, холодным глиняным полом хаты, где мачеха готовит пойло свинье и корове, с непролазной грязищей пакульской улицы, с тусклым, таким унылым миганием керосиновой лампы под засиженным мухами потолком, этот мир мелькнул за окнами машины и тихо отстал, отдалился, исчез. Ярослав жал газ так, что ветер свистел в открытом окне, и лишь на околице Шептаков, у горбатой, дуплистой вербы, притормозил:

— Возле этой вербы я плакал, восьмиклассником. От неразделенной любви. Верба тогда была молодая. Теперь старая и уродливая. Как и я.

— Напрашиваетесь на комплименты, Ярослав Дмитриевич? Мне нравятся пожилые мужчины.

— И многие нравились?

— Я ведь не интересуюсь, скольких женщин любили вы. С зимы у меня никого нет. Он хотел, чтоб я вышла за него замуж. Машина, квартира, все…

— Почему же не вышли?

— Я все это смогу иметь сама, если захочу. Все равно поступлю на кинорежиссуру и буду снимать фильмы. Я

поступала трижды, в четвертый раз — поступлю, железно, в институте меня уже знают, стаж есть. Сам ректор пообещал.

— Я действительно плакал у этой вербы. Я был безнадежно влюблен. В одноклассницу. Ее тоже звали Маргаритой.

— Только не надо говорить, что я на нее похожа и вместе со мной к вам возвращается молодость. Я не люблю игры — в жизни. Вам нужен реванш, через четверть века или через сколько там?

— Вы такая трезвая. — Он медленно ехал через Шептаки.

Каждый пригорок, каждый поворот дороги жег воспоминаниями. Вот здесь стоял хлев, с широким козырьком крыши, под этой крышей они с ребятами укрывались в дождь или метель, оббивали наледь и снег с валенок, оттирали грязь со штанов, потому что весной и осенью приходилось увязать по колено, терли руками приморожeнные щеки: через какую-то сотню метров начинался школьный двор, и можно было встретить шептаковских девчат. Из этого вот тупичка, если ему очень везло, появлялась Маргарита с портфелем, ее дом стоял на холме, и была еще дорога вдоль речки, но каждый день он подходил к тупичку с бьющимся сердцем. У школы нажал на газ, к шептаковской школе у него свой счет. В восьмом классе Петруня решил, что к Майским праздникам станет отличником и тогда наконец-то признается Маргарите в любви, но за неделю до Первого мая учитель математики выгнал его с урока, послал за отцом, и все поломалось, рухнуло, а к осени тетка забрала его во Мрин.

— А если я ревную вас — к той Маргарите?

— Вы способны ревновать?

— Конечно, нет. Я пошутила. Сыграла сценку. Актрисуля из провинциального театра. Молоденькая провинциальная секс-бомбочка. Приправа к вашей сегодняшней премьере. Только зря вы отправили в "рафике" своего Бермута. Я не люблю обниматься средь бела дня. Тем более в машине. Я привыкла сперва принимать душ. И обязательно — предохранительные средства. Лучше — японские.

— Маргарита!

— Разве я сейчас не такая, какой вы меня придумали?

— Вы не так меня поняли, Маргарита. Я ничего такого в мыслях не имел.

— Если бы вы ничего не имели в мыслях, вы б не гнали лошадей… Не гоните, яблоко созреет и само упадет к вашим ногам. Я влюбилась в вас, как слепенькая, семнадцатилетняя девчонка. С первого взгляда. И не скрываю этого. Оказывается, встречаются еще такие дурочки и в наше рациональное время. Только не сердитесь на меня. Ну хотите, я сейчас выйду из машины, побегу босиком по тропинке, совсем как в плохом кино, упаду в ваши объятия. А вы обнимете меня и скажете: "Наконец я встретил тебя, цветок моей юности…" И быстренько уложите меня на траве. Или разложите сиденье машины. Сиденья вашей машины опускаются?

Он молчал. Он долго молчал. Стрелка спидометра уползла за сто километров. Вербы вдоль шоссе стлались космами темно-зеленого тумана.

— Я об одном прошу вас, Маргарита. Будьте сегодня со мной. Мне сегодня действительно плохо…

В этот вечер Ярослав Петруня дружил с зеркалами.

Тройка сидела на нем безукоризненно. И даже собственное лицо сегодня нравилось ему.

Гадкий утенок, из которого чудом вырос белоснежный лебедь, — вот кто он.

Кожаный плащ, руки — за спину. В Тереховке ему делали замечание, когда ходил руки за спину: "Ты кто — председатель райисполкома?" Где теперь этот председатель? Ищет в газетах фамилию Петруни и каждому встречному — сам-то уж давно на пенсии, а похвастаться охота — хвалится, что работал с Петруней в одном районе. Пока шел по гостиничным коридорам, через вестибюль, не пропустил ни одного зеркала, даже на лакированные деревянные панели косил глазом — там тоже отражалось. Финские ботинки мягкой кожи пружинили, а может быть, это в его ступнях пружинки, как в молодости, давно так не ходилось. Женщины — достойные из достойных представительниц слабого пола — провожали его заинтересованными взглядами и шептались вслед: "Писатель пошел... Петруня..." А может, слышалось ему. Так бы вот шушукались и провожали глазами, когда он ходил по этим же бульварам в фуфайке и бурках, с торбой на плече. Или когда выводили его из праздничной колонны за рукав старенького пиджака. Но хватит. Не портить праздника воспоминаниями. Сегодня пробил его час. Его триумф. Победа над Мрином. Над Тереховкой. Над Пакулем. Над судьбой.

Стоп! — прошлого нет, есть только сегодня.

Парадный подъезд театра освещен, как ворота в рай на старой бабкиной иконе. Шесть ступенек. Только не спешить. Конечно, лишнего билетика никто не спрашивает. Но зал

будет полон, Бермут об этом побеспокоился, привезут зрителей из сел, колхозы — на своих автобусах. А он никогда и не надеялся, что городской зритель будет рваться на спектакль по его пьесе. Пьеса писалась специально для села. На сельскую тему. А мещане пусть сидят перед телеэкранами. Представители прессы будут. Об этом Бермут тоже позаботился. Интересно, кто придет из редакции? Его бывшие коллеги лопнут от зависти. Апофеоз. Всех, кто придет, приглашайте на банкет, упредил Бермута. Представителей прессы, в частности. Пусть пишут. Это их дело. Столько лет из одного котла, как говорится, но у каждого своя судьба. Еще шесть ступенек — и колонны. Не спешить. Сельские дядьки под колоннадой смолят "Приму". Он закурит в фойе.

Билетерша:

— Ваш билетик?

— Я автор.

А Бермут уже спешил навстречу, распростерши руки:

— Дорогой мой, поздравляю вас с началом праздника культуры. Вас ждет волнующая неожиданность. Это придумал Бермут! Яблоки из родного сада! Незабвенные запахи детства! — Обнял за плечи, повел через фойе в комнату для почетных гостей. Перед ними расступались, Ярослава узнавали, здоровались, и он кивал в ответ, улыбаясь. — Сейчас, Ярослав Дмитриевич, вы увидите дорогого вам человека. Примите дорогие дары. Поцелуйте руку, выпестовавшую вас…

Ярослав переступил порог. Щелкнули выключатели — вспыхнули осветительные лампы. Застрекотала телекамера. Вприсядку танцевал вокруг фотокор областной газеты. Щелк.

Щелк. Щелк. А за всем этим стояла мачеха. Зеленая вязаная кофта, юбка в клеточку, черный передник, с красной вышивкой понизу — наверное, настоял Бермут: экзотика, народное искусство, народные обычаи. Из сундука передник. Из приданого, которое было принесено отцу. И которым отца весь век попрекали. В девках ходила до тридцати пяти и все в сундук складывала. Пышную сыграли свадьбу, вся хата в рушниках и тканых скатертях, сундук набит добром, подушки — до потолка, через год после маминой смерти это было. Он так и не назвал мачеху мамой. Ни единого раза. Упрямый был — мальчик с книжкой. А она сердилась, что мамой ее не зовет. Стояла посреди комнаты, сложив руки на животе, поверх своего черного передника. Руки — словно из небеленой конопляной веревки свиты, натруженные руки, этого не оспоришь, и он помогал ей, чем мог, можно бы и больше помогать, но ведь пенсию получает, да и сердце не лежало, что там говорить. Если б родная была жива… Боже мой, если бы родная… В такой день! А так — все спектакль. Режиссера Бермута. Вот он толкает Ярослава в спину, мол, время, ступай. И Ярослав пошел. К журнальному столику с корзиной яблок.

— Уважаемая, уважаемая, я же вас учил. Берите корзинку и вручайте сыну. Яблоки из отцовского сада…

Яблоки были не из отцовского сада: краснобокие, как на послевоенных елках из ваты, выкрашенной немецкой трофейной краской. С базара яблоки, их стоимость Бермут включит в общий счет, по графе "реклама". Реклама Ярослава Петруни. И стоимость корзинки из салона сувениров. В отцовском саду росли неброские на вид антоновки и путинки. Нигде потом не встречал таких, нет теперь таких яблок. И никогда уже не будет. Настоящих яблок его горького детства. Взял корзинку, нагнулся, поцеловал руку мачехи. Руку в мозолях, рубцах, в синих узелках вен. Работать эти руки действительно умели. Но и тумаки тоже умели раздавать.

Горькая женская судьба, которая наложилась на годы войны и добавила горечи и в его судьбу.

— Уважаемые, уважаемые, станьте рядом, корзинку с яблоками — в руки. Снимаем!

Но даже не тумаки — самое горькое в детстве, а сиротство, когда не с кем разделить горе и радость. Нехватка любви — вот что самое страшное. На выпускные экзамены после семилетки приехал инспектор из Мрина. Ярослав пошел первым сдавать, отвечал блестяще, по истории на пять с плюсом, инспектор его нахваливал. Домой летел на крыльях, только на порог, тут и мачеха с поля: "Где шляешься, почему свиньям травы не нарвал?! Только жрать, в миску заглядывать! А помощи ни на грош! Провались ты со своей школой!.."

Выскочил из хаты на огород, в вишняк, упал лицом в траву, слезинки от обиды, как смородины, хоть уже и не маленький. Сколько лет прошло, а все, как вчера. Никакие радости житейские во взрослой жизни не высушат тех детских его слез…

— Ярослав Дмитриевич, дорогой, сделайте лицо повеселее!

— Сделал.

Наконец лампы погасли. Можно поставить корзину с яблоками и закурить. А пальцы дрожат. Запретить себе воспоминания на сегодня. И на завтра. И навсегда. Если бы мог…

— Как тебе живется, Ярослав? — едва расслышал голос мачехи.

— В трудах и заботах, как всегда. Почему не приедете никогда?

— Э-э, сынок, скажу тебе просто, по-деревенски: не больно ты со мной роднишься.

— Некогда особенно родниться: то собрания, то поездки, то спешная работа, и в Киеве мало бываю. А Ксеня моя обижается: почему это мать не приезжает?

— В гости ждет, а сама что ж порога моего за двадцать лет ни разу не переступила? Только и была после свадьбы… У тебя хоть душа открытая, а Ксеня как была, так и есть чужая сторона.

— Ну вот… И она в заботе. Какое-никакое, а хозяйство, два мужика в доме. Да и за дачей глаз нужен. Ну, мы еще поговорим, вы на банкет после постановки оставайтесь. Мне тут еще надо… с людьми.

И пошел в фойе. Нес себя, как икону. Приятно, что ни говори, сфокусировать на себе десятки взглядов и нести, нести… Но никто на него не смотрел. И в лицо-то мало кто знал. Если и поминали мальцом — сейчас не знают. Курил один, сигарету за сигаретой. Люди заняты собой. Никакого внимания на Ярослава Петруню, словно и не он — автор пьесы. Не он — известный, талантливый и т. д. Бермут подкатился:

— Дорогой вы наш, не забудьте в ответном слове сказать о неразрывных узах, об истоках. Вот я для вас и тезисы прикинул. Начнете после выступления учительницы. — И понесся дальше. Уверенный, что делает дело. Что так и надо. И не жрет себя поедом, как он, Ярослав Петруня.

Скорей бы уж начало. Муторно от сигарет.

Наконец — первый звонок. Ярослав направился в зал. Пакульчане сидели у прохода, чтобы легче пробираться на сцену, как только кончится спектакль. В руках учительницы листок с текстом выступления, учит Бермутовы премудрости. Все спланировал Иван Иванович — и где сидеть, и что говорить. Творец триумфа Ярослава Петруни на земле его детства. Ярослав замедлил шаг и поклонился пакульцам. Его место крайнее в ряду, чтоб не цепляться за колени сидящих, когда будет выходить на сцену.

"Вся жизнь человеческая — спектакль", — слышались слова Ивана Ивановича Бермута.

Поднялся занавес. Угол дома, заборчик, яблоня в цвету, скамейка, криница с журавлем, уютный уголок, пастораль, деревенский рай, воспетый поэтами и поэто-прозаиками, которые живут на энных этажах высотных городских домов. В глубине сцены — панорама современного села с фермами, сенажными башнями, с каменными коттеджами. "Пусть теперь упрекнут, что в спектакле нет современных реалий, — говорил в ресторане режиссер, грея в ладонях рюмку с коньяком. — Аромат божественный. Мореный дуб... Блестящая идея! На заднике — перспектива!" Оркестр в яме сыграл мажорную, народные мотивы, прелюдию. На сцену выпорхнула девчонка, в вышитой сорочке, нарумяненные щечки, зеленая юбочка. Деланно-оптимистичным голоском прощебетала: "Ой, я такая счастливая, такая счастливая, как земля весной! Наконец-то он признался, что любит меня! Назвал своей лебедушкой! Сказал, что на руках пронесет вокруг земли". "И понесу на руках, по всему свету, моя лебедушка, краса моя и счастье мое. — Вслед за девушкой из-за дома, намалеванного на диктовом щите, выбежал такой же экзальтированный хлопец, новенький комбинезон говорил о его принадлежности к отряду сельских

механизаторов: — Разреши я поцелую тебя, моя ненаглядная, солнышко мое!" "Когда хотят поцеловать, разрешения не спрашивают! Может, еще заявление на правление подашь?! — выкрикнула задорно и отвернулась, вся ожидание, краем глаза косясь на часы. — Скорей думай, на вечернюю дойку опоздаю, а мы выходим на передовой рубеж по району, нынче каждая капля молока..." Не договорила, потому что парень наконец решился, обнял, поцеловал. "Ой, медведь! Целуешь — как силос в яме утрамбовываешь. Нежно-нежно надо. Я ведь еще не привыкла..." "Ничего, цыган к цыбуле три дня привыкал, а сала попробовал — сразу привык..." По залу прошелестел смешок. Сработало. Не один сборник народных поговорок перевернул, пока напал на эту. Хорошо легла. Спектакль должен понравиться. Это сначала звучит фальшиво, натужно. Потом привыкаешь. И кто сказал, что на сцене все должно быть, как в жизни? Театр — это игра, это искусственный мир, фантазия на определенную тему, фантазия автора и режиссера. Главное — изящество, остроумие плюс — сюжетик, интрига. Разве сам Шекспир не писал развлекательных пьес? Неужто надо везти людей из сел за десятки километров, чтобы показать им такое же село, со всеми его буднями? Не от забот к заботам, а — в яркий праздник, вот принцип театра, литературы, вообще — искусства. Быть выше будней. Творить сказку о жизни. Разве не была сказкой для него в детстве литература? Сказкой, в которую он убегал. Главное — привыкнуть к миру, рожденному вымыслом. И тогда он не покажется таким уж нереальным. Народный лубок, базарные картинки, нарисованные яркими анилиновыми красками. Лубок нынче в моде. Новатор Ярослав Петруня. Искатель современных форм Ярослав Петруня. Первое действие спектакля завершилось взрывом на сцене — растяпа-мастер включил отремонтированный телевизор. Режиссер постарался — все было как настоящее: грохот, дым в летней кухоньке, и на пороге явился герой, весь в саже. В зале веселый смех, аплодисменты, все прекрасно, чудесно, спектакль удался, зря

он казнит себя весь день, чудесно, чудесно, чудесно. И тоже зааплодировал. Вместе с залом.

В антракте шел из зала вдохновленный. Радостный. Мачеха сидела сразу же за проходом, прямо, словно спину приклеила к стулу, а руки — на коленях, темные корневища. Стукнуло в сердце. Склонился заботливо — пакульцы поглядывали на него со своих мест, весь театр смотрел на него.

— Понравилось, мама?

Что уж теперь, через столько лет после смерти матери, становиться в позу, пусть будет "мама" — собственно, какая разница, это в детстве он играл в никому не нужную принципиальность. Но мачеха, казалось, и не заметила перемены. А может, сделала вид, что не заметила.

— Что ты, Ярославчик, старую бабу спрашиваешь. Ты теперь человек ученый, сам знаешь, что придумывать…

— Но смотреть-то было интересно?

— Как же, глядела. Хорошая постановка. Только я больше люблю житейское. В телевизоре, когда житейское кажут, — и поплачу, и посмеюсь, и свое вспомню, всякое на веку пережила, ой всякое…

— Привет, привет, друже! — Ярослава кто-то обнял, повел меж рядами кресел. Хорошун. Его тереховский редактор. — Что ж, остроумно, жизнеутверждающе. Умеешь, искрометный талант! Смотрел — и вспоминал Тереховку. Когда стал редактором, спрашиваю у своего предшественника о сотрудниках, что этот умеет, что тот. Так он о тебе сказал. Это такой хлопец — вот спичечный коробок перед ним положь и

дай задание: два подвала в номер — веришь, сядет и напишет, не вставая из-за стола. И тут у тебя сюжетик — коробок спичек, а такое расписал… Горжусь тобой. Самого меня текучка газетная засосала, но и я подумываю удивить мир записками краеведа. Выходные и так, когда свободная минута выдается, просиживаю в архиве. На художественность не претендую, это уж ваша, писательская юдоль, нам, простым газетчикам, туда лезть заказано, но напишу грамотно о том, что знаю.

— Может, именно в этом настоящая художественность — грамотно о том, что знаешь, — засмеялся Ярослав невесело. — А все мои игры со словом…

— Не скажи, друже, не скажи! — решительно запротестовал Хорошун. — Любуюсь, как ты со словом управляешься. Циркач, фокусник. По-хорошему завидую, искренне говорю. За двадцать лет после нашей Тереховки сколько я людей перевидел, всю область исходил и объездил, деревеньки такой нет, где бы не побывал, кипы исписанных блокнотов — такое б мог изобразить! Да вот не могу. А тебе природой дадено — талант. Ты перед природой и отвечаешь, помни это!

— Какой там талант… На кусок хлеба зарабатываю, и ладно. — Вышли из фойе на лестницу, остановились у колонны. Внизу поблескивала лысинками отполированного булыжника широкая, как поле, площадь, обрамленная штакетинами фонарей дневного света. Пусть слышит площадь. — Хорошун признал-таки за ним талант! Тереховка признала. Этого ты хотел, Ярослав Петруня?

— А я, что тот пес, все вижу, все знаю, а сказать, чтоб до сердца дошло, не умею. Так что ты должен говорить и за меня, и за другого, за третьего, за всех людей.

И чего пристал? С этим талантом. Мне бы за себя сказать, а тут должен — должен! — и за него. У кого есть талант, тот о нем не говорит. Талант, что воздух. Дышишь, и все. Провинциальная манера — говорить о долге. Кому что он задолжал? А может быть, талант — это компенсация за горечь детства, за детские слезы и боль, боль…

И вот свершилось (и это все? ради этого?) — занавес опустился и снова пополз вверх, зал вежливо аплодировал. "Автора! Автора!" — прогремел могучий бас Ивана Ивановича. Ярослав послушно поднялся, пошел мелкими шажками на сцену — талантливый, известный, скромный. Аплодисменты все нарастают, аплодировал партер, аплодировал бельэтаж, аплодировали ярусы. Слава. Всенародная… Мировая… И вот он уже на сцене и раскланивается залу — как задавить в себе этот ироничный голосок, избавиться от критического взгляда со стороны хотя бы в эти самые высокие минуты взлета вчерашнего пакульца, вчерашнего свинопаса? (Свершилось! Что свершилось?!) И вот он уже благодарит участников спектакля, актерам жмет руки, актрисам — галантно целует. И застывает у рампы, такой талантливый, знаменитый — и такой обыкновенный, а из зала уже движутся его земляки, пакульцы, выстроенные в колонну по одному вездесущим, деятельным, незаменимым Бермутом, режиссером нового спектакля — после спектакля. Впереди толстощекая молодуха несет на рушнике каравай, за ней со снопом георгин выступает председатель пакульского колхоза (чертов Бермут, зачем он вытащил на сцену еще и Юрка Бублика — по глазам же видно, как тот ржет про себя, за одной партой — восемь лет, пока не перебрался во Мрин). Следом переваливалась моя располневшая учительница, за учительницей — мачеха и еще с десяток односельчан. И вот Ярослав Петруня целует каравай — под стрекот кинокамеры и щелканье фотоаппаратов, пакульцы выстраиваются на сцене, и учительница

разворачивает бумажку с текстом своей речи, написанной Иваном Ивановичем:

— Уважаемые товарищи! Только что произошло большое культурное событие в жизни нашего края — спектакль по пьесе нашего уважаемого земляка, известного писателя Ярослава Петруни. Мы знаем и глубоко изучаем его прозаические произведения, а с драматургическим творчеством Я. Петруни познакомились впервые. И надо откровенно сказать, уважаемые товарищи, что знакомство это было радостным. Новое произведение, посвященное нашему сегодня, его тема и идея глубоко взволновали наши сердца…

Бублик стоял в двух шагах от Ярослава, смотрел ему в лицо и подмигивал одним глазом…

(Все. Хватит. Больше ни одного слова про спектакль после спектакля. И про банкет после спектакля Бермута, где меня пылко расхваливали перед каждым новым тостом. Не хочу! Писать об этом — переживать все снова. Под ироничным прищуром Юрка Бублика, председателя пакульского колхоза и моего бывшего одноклассника. С банкета нам с Маргаритой удалось сбежать. Вслед за пакульцами. Бермут с режиссером и оркестрантами, перекурив, снова уселись за столы, водки осталось море. А я, схватив Маргариту за руку, вытирая платком лицо, обслюнявленное Бермутом — трижды за вечер обнимал меня и обцеловывал, велеречиво поздравляя с успехом, — выскользнул на улицу. И все-все, что угнетало меня в этот вечер, исчезло. Мне необходимо забытье — и оно будет. Собственно, ради Маргариты я и ехал во Мрин. Кто сказал, что я ехал ради спектакля, организованного Бермутом? Бермута нет. Ничего нет. Есть только я и Маргарита. И швейцар, которого надо уговорить, чтобы пропустил Маргариту со мной после одиннадцати. Я взял и этот барьер. И даже сопротивление Маргариты, которой не очень хотелось

идти на ночь глядя в гостиницу. Я бываю одержимым, когда чего-то очень хочу. Сверхконденсация энергии. Женщины любят волевых. Сильных. Страстных. Женщины любят победителей. А он — победитель. Триумфатор. Если запретит себе — думать. О самом себе.)

И тут, в холле гостиницы с круглым столом и мягкими стульями в льняных чехлах…

— Простите, бога ради простите, можно вас, Ярослав Дмитриевич, на одну минутку?

…На диване он сидел, дерматиновом, в кабинете редактора мринской райгазеты, где напечатал свое первое стихотворение о весне и второе — о Первомае, с портфельчиком на коленях, в вытертом до ниток засаленном костюмчике, впереди — выпускные экзамены, а дальше пропасть, ничего не различишь, не нужен он матери в селе, не нужен и тетке в городе, и нет гроша медного, чтоб готовиться и поступить в институт, есть лишь смутные мечты о журналистике. Редактор райгазеты, жалостливая женщина, набирает номер телефона обкома партии, разговаривает с инструктором отдела пропаганды и агитации… Боже, вспомнить бы фамилию. Смешная такая фамилия, ага, вспомнил — Перепеча. На следующий день — он уже в кабинете Перепечи, портфельчик между коленей, на портфеле — картузик, а за столом маленький, лысоватый уже человечек, в черном кителе и в очках с проволочной оправой, круглых, таких вот, как на этом дедке, и такие же, стального цвета, макинтош и шляпа. Маленький лысоватый человечек в черном кителе внимательно разглядывает его и говорит: "Так-так, читал ваши стишки, что-то в них есть, душевное, так-так, понимаю, один, без матери вырос, такие годы были, знаете, и вам досталось, не сахар, ничего, ничего, кого в детские годы не изнежили, те сильными вырастают, так-так, сдавайте

выпускные экзамены и поедете в Тереховку, там нужен корректор, я уже звонил редактору, возьмет с нашей рекомендацией..." Первый человек, который в него поверил и позаботился о его будущем: пока он сдавал экзамены, ему держали место, сам позвонил в школу перед последним экзаменом и потом на протяжении нескольких лет поддерживал его, чуть ли не за руку вел по жизни, как же он мог забыть его и не пригласить на премьеру, забыть и не пригласить...

8

Оставив Маргариту в номере, бросился вниз по ступеням. Уже в холле подумал, что надо бы закрыть дверь номера из коридора. Гарантия, что не исчезнет. От этих девятнадцатилетних можно всего ожидать. Но возвращаться было поздно. Может, удастся быстро спровадить этого музейного дедка из экспозиции пятидесятых годов...

— Подышим свежим воздухом? Весь день такая суета, сил нет.

Взял его под руку, повел к выходу, мимо швейцара, сочувственно поглядывавшего на Ярослава — наверно, догадывался обо всем, мимо группы захмелевших постояльцев, вывалившихся из ресторана, мимо молодой пары, целовавшейся в укромном уголке между стеной ресторана и автоматом с газированной водой (везет людям — никто их не отрывает от этого благословенного занятия, даже проходивший мимо милиционер стыдливо отвернулся), боже, за что караешь — в такую минуту послал старого Перепечу! Быстрей. Быстрей. Маргарита ждет.

— Дочь ваша, Ярослав Дмитриевич?

— Где? — вскинулся.

— А с вами шла.

— Дочь. Учится.

— Так-так, а на кого учится?

— На журналиста, в университете.

— Так-так, вашими, значит, дорогами. Это хорошо. А на каком курсе?

Черт бы побрал настырного деда, он что — следователь?

— На третьем.

— Так-так, взрослая уже доченька. А еще детки есть?

— Есть, сын. Десятый кончает. Будет поступать на физико-математический.

Может, больше вопросов не будет…

— Так-так, это прекрасно, что двое деток. А у меня уже трое внуков. Время идет, идет времечко. На пенсии уже давненько. Работал еще немного в отделе кадров облисполкома, а теперь домовничаю. Дачка у меня — в коллективном саду. Роюсь в земле, как курица. Да оно и ладненько, для здоровья. А у вас дачка есть?

— Есть у меня дачка, машина, все у меня есть, нет только времени, закрученный, замученный. Дергают во все стороны:

газеты, радио, телевидение, общественные поручения, а когда-то еще и почитать надо…

— А тут еще и я со своей стариковской болтовней, уж простите меня.

— Простите вы меня, что не пригласил на премьеру. Не успел. Репетиция, встречи с читателями, деловые переговоры с руководством театра, хотят, чтобы я специально для них пьесу написал, директор просто умолял, а что я могу, не разорваться ж…

— Так-так, понимаю, меня лета к земле клонят, я — вниз, а вы — все вверх и вверх, дистанция, так сказать, растет… А я за вами все время наблюдаю. Отдельную папочку для ваших книг завел, все, что появляется, покупаю. И читаю. Красиво пишете, красиво. Искрометный талант у вас, искрометный.

— Не знаю, красиво или нет, но, во всяком случае, грамотно, — изобразил на лице скромность, хотя на бульваре было темно, и его пантомима не имела зрителя. — Гениальности от человека требовать нельзя, это — от бога, как говорится, но элементарная грамотность для профессионала…

— Искрометный, говорю, талант у вас, — повысил голос Перепеча, повернулся к Ярославу и задиристо вздернул голову, его маленькие очки в проволочной оправе мигали где-то у Петруниного плеча. — Искр много, а огня мало, не больно согреешься. А может, я на старости лет мерзнуть стал и слишком много от литературы требую. Так что близко к сердцу моих слов не принимайте. Понимаю, вам сегодня такой фейерверк устроили, а тут я со своей ложкой дегтя… Но не сказать, что на сердце, — не могу, нет, не могу! Давно высматривал вас в наших краях, когда-то даже, будучи в

Киеве, хотел зайти, но тогда не посмел. А теперь осмелился, потому что после пьесы — все, как по живому. Простите старому пенсионеру, но не всей душой на плуг свой наваливаетесь, мелко пашете, мелко. Теперь так: едва землю царапнут — и зерно бросают, но слишком уж этой новацией увлеклись, такие сорняки развели — волки по ночам воют. И в ваших книгах сорнячков много, Ярослав. А землю не обманешь и людей не обманешь. Книга — она, что фотография, все об авторе расскажет. Не болит у тебя, о чем пишешь, Ярослав. Слова будто и те, правильные, а за словами — пусто. И не знаешь ты, Ярослав, о чем говоришь. Прости, что на "ты", время для меня будто остановилось, будто снова ты пришел ко мне за советом, в бурочках самодельных, с портфельчиком. Не ждал от меня такого поворота? Можешь обидеться и уйти, имеешь полное право. Супруга сердилась на меня, когда я сказал, что все-таки дождусь тебя. Наговоришь, мол, лишнего, какое твое дело, каждый живет, как умеет, по какому праву поучаешь?! А я, отвечаю, без всякого права. Выложу в глаза все, что у меня на душе, — и пусть сердится, пусть бежит от меня, коль критику не научился понимать. Но заноза в душе останется, потому что не чужой я ему…

— Критику я понимаю, — криво усмехнулся Петруня, теперь уже радуясь, что на бульваре темно и собеседник не видит его лица. — И должным образом воспринимаю, и, конечно, благодарен, хотя после такого приема спектакля зрителем немного странной кажется ваша позиция… Вообще, чтоб судить так категорично о современной литературе, надо быть специалистом…

— Да я не о литературе, где там эпитеты, где метафоры, тут у тебя все как положено — и метафоры и эпитеты. Я о том, что за всем словесным кружевом цветистым.

— Чего ж вам недостает за этим кружевом? — спросил, не скрывая иронии. — Чего там нет такого, что есть в других книгах? У вас теперь есть время читать и сравнивать…

— Теперь у меня время действовать есть. — Перепеча шел медленно, не торопясь, постукивал по асфальту железным наконечником палки, словно секунды отсчитывал, чертов дед, откуда взялся на его голову со своей критикой, Маргарита подождет немного — и была такова, после всего, что было сегодня, остаться одному и ковыряться в собственной душе… — Читаю и сравниваю. Тут так просто не скажешь. Все в твоих последних книгах есть, а жизни нет, а правды нет, словно ты не ко взрослым людям обращаешься, а сказку для детей сюсюкаешь, так нынче и дети — куда тебе!.. Прожить хочешь легко, сливки снимая, вот что. А при твоей работе так нельзя. При твоей работе надо иметь мужество и против течения плыть, коли принципы есть. Это тебе не пенки с варенья снимать. Хоть оно, ясное дело, приятнее с ложкой наготове стоять у тазика, где варенье варится, чем брать на себя ответственность, прости за резкость, но больно давно ты не приезжал к нам, у меня и накипело…

— Перед кем ответственность?

— Не побоюсь высокого слова в таком разговоре, Ярослав, скажу: перед народом. Перед народом, который дал тебе талант.

— Да никто мне таланта не давал! — заорал Петруня на весь бульвар, даже молодая парочка в глубине аллеи, под вербой на скамейке, разбежалась в разные стороны. — Демагогия это все! Игра случая, каприз гениев — и я умею низать слово к слову. К чему тут мифический народ? Кто — народ?! Баба, которая вдвое против цены дерет с меня за луковицу, — народ?! Я по двенадцать часов сижу за пишущей

машинкой, я честно зарабатываю на хлеб себе и своей семье, исправно плачу налоги, не нарушаю законов государства и даже правил дорожного движения — кому и что от меня еще нужно?! Почему вы от меня требуете больше, чем от других, ответьте хотя бы на один этот вопрос? Я до шестнадцати лет недоедал, да вы сами знаете, видели, так имею я право теперь, имею! Почему вы не отвечаете? Я такой же служащий, как и миллионы других, почему именно от меня требуется самопожертвование?

— Нет, Ярослав Дмитриевич, не такой.

— Да почему?! Почему?!

— Потому что вы не служащий, а писатель. Это совсем другое. Писатель — это нравственная категория. Простите еще раз за высокие слова, вижу, вы не очень их уважаете, но настоящие писатели всегда были пастырями народа, как это ни громко звучит. И не мифического народа, Ярослав, нет. Народ — это как гигантский хор, у каждого певца — свои заботы, радости, неприятности, болезни, причуды, но песня — общая — тем не менее звучит, потому что каждый вкладывает в нее лучшее, что у него есть.

— Духовные пастыри!.. Ха-ха-ха! — нарочито громко рассмеялся Ярослав и резко оборвал смех. — Простите, мне пора. В гостиницу не пустят среди ночи, и жена обещала позвонить после двенадцати. А завтра я обязательно к вам заеду. Поговорим — может быть, и к общему мнению придем. Вы ведь в этом доме живете? Какая квартира?

— Квартира семнадцать. Да ты не заедешь, Ярослав, наперед знаю. Но душа твоя на донышке где-то ноет, значит, жива еще твоя душа, запас нравственного здоровья не иссяк…

Я это заприметил, когда ты на сцене стоял. Лицо твое как изменчивая личина, маска, а глаза — страшные были у тебя глаза, Ярослав. Понимающие цену устроенного тобой же спектакля. Потому я пришел, потому и затеял этот разговор. Пусть, думаю, позлится на деда, может, именно эта капля переполнит чашу, которую в себе носишь и боишься расплескать. Люблю тебя, Ярослав, по-отцовски. Сынов у меня не было, только дочь, и та уже взрослая давно, внучки, правда, тешат. Потому, наверное, и верю в победу добра в тебе, что люблю. Ну, беги, беги, извини, что пристал со своей провинциальной болтовней…

— Завтра заеду за вами, с утра, поедем ко мне в Пакуль, хотите?! — прокричал уже издали… Маргарита. Маргарита. Маргарита. Ждет. Награда судьбы. За все, за все.

Ожидая, пока проплывет мимо троллейбус, остановился на краю бульвара, поднял голову — и вспомнил. Словно вчера ему было — сколько же ему было? лет двадцать? — только вчера начал работать во Мрине. Был "свежей головой", вышел из типографии где-то около двенадцати ночи.

Мартовский ледок похрустывал под каблуками. Небо в перистых легких облачках. А в темно-синих окошках — крупные, яркие звезды, подвешенные на невидимых нитях. Искрились, будто капли росы на траве ранним утром. А ниже звезд, ниже облаков — красные огни телебашни. Долго стоял посреди бульвара, задрав голову, тополь ки тогда еще были юные, не закрывали неба. Трепетное — душа трепетала! — предчувствие весны, счастья и прекрасного будущего, которое ждет его. Не о квартире в Киеве, не о машине и даче тогда мечталось, ничего такого еще и в уме-то не было. Он мечтал написать такие книги, которых никто не написал и не напишет, кроме него, Ярослава Петруни. Книги, которые

перекинут духовные мосты от его поколения к поколениям будущим.

Сегодня небо над головой было почти осенним, в кошмах низких туч, и ни единая звездочка не пробивалась через тяжелую завесу. Ветер с печальным шорохом катил по бульвару сухую тополиную листву. А главное — душа больше не трепетала в предчувствии будущего. Все, что должно было сбыться, сбылось. У него нет претензий к судьбе. Судьба была слишком щедрой к нему. Все остальное зависело только от него. Если что-то не сбывалось — значит, он сам не захотел этого. Впереди — лишь количественное накопление. Ну еще десять, двадцать книг настрочит, он теперь печатает как из пулемета. И финал: Байково кладбище. Может, оценят хотя бы за количество исписанной бумаги и похорошеет неподалеку от почетной центральной аллеи. Да и Ксеня дремать не станет, обобьет пороги не одного ответственного учреждения. Если переживет его. А она переживет. Закопают над костями какого-нибудь тайного советника, получившего за выслугу лет Анну на шею и уверенного, что ходить ему с этим орденом по тенистым аллеям рая, как по Крещатику, а навстречу все те же — начальники и подчиненные. И всё. Полное забвение. На следующий же день после похорон, после некролога. Разве что Ксеня вы́ходит юбилейный томик, бóльшая половина тиража которого пойдет на макулатуру. И никому-то его словесная пена не будет нужна. Вторая смерть, теперь уже настоящая, писателя Ярослава Петруни. Придут новые поколения, новая жизнь, но ему, Ярославу Петруне, в ней не достанется места. Будут другие, кто не менял слова на медяки, кто плечом к плечу с народом честно строил новый мир, кто отстаивал идеалы, а не себя, кто писал не чернилами, а кровью, сердцем, жизнью своей писал, кто…

Троллейбус проплыл в ночь, и Ярослав метнулся через дорогу. Шофер такси нажал на тормоза, проехал юзом,

ругнулся вслед Петруне. Его ждет Маргарита. Маргарита. Маргарита.

Единственное, ради чего еще стоит жить.

По лестнице бежал. Через две ступеньки. Маргарита. Маргарита. Маргарита… На втором этаже уже погасили свет. В холле, за занавеской, спали, кто-то высвистывал носом, ну точно иволга на даче. Сердце выскакивало из груди, когда переступал порог номера, залитого ярким светом, — были включены все люстры и бра на стенах и даже лампочка в прихожей. Что, если она не дождалась и ушла? Катастрофа. Конец света. Дым плавал в гостиной вокруг люстры белесым облаком. А Маргариты не было. Ярослав привалился к косяку двери. Ноги стали тяжелыми, неподъемными, будто в валенках, набрякших водой. В этом люксовом номере, в клетке-люкс — один. Скорпион в огненном кольце — запомнилось с уроков зоологии. Он сам разложил вокруг себя хворост и поджег. Акт самосожжения. Во имя того, кто родится на духовном пепелище. Если родится. Но он — не хочет. Он — боится. Состояние, когда чувствуешь себя падающим самолетом, разваливающимся в воздухе. Потащился через гостиную, стукнулся коленом о журнальный столик, перевернул пепельницу с окурками. Наконец — дверь в спальню, завешенная портьерой. Дернул: Маргарита в платье и туфельках лежала на кровати. Конечно, куда ей деться. От него. От Ярослава Петруни. От писателя Петруни. Опустился на колени перед кроватью, взял ее руку в свои, поцеловал:

— Прости, принесла нелегкая старого знакомого, пришлось провожать.

— Я боялась, что заглянет дежурная. И выйти боялась, все время кто-то ходил по коридору. А теперь меня не пустят в

общежитие, комендантша уже закрыла, у нас — до двенадцати.

— Боже, что ты говоришь! Я так ждал этой ночи! Пусть она будет наша!

— Только вы меня не трогайте, хорошо? Ложитесь в гостиной. Поговорим немного и заснем. Когда рассветет, я уйду и будить вас не стану.

— Не хочу этого слышать, не хочу! Ты еще молода, ты не понимаешь, как в жизни мало подобных минут. Может быть, я ждал такой вот ночи все свои сорок лет. Если бы не ты, я не приехал бы на премьеру. — Он захлебывался, сыпал словами, как горохом, он почти верил в то, что говорил, целовал ей руки, грел дыханием ее тело через ткань платья. — Нужно прожить столько, как я, чтобы понять: ничто не имеет цены, кроме...

— ...секса, — Маргарита засмеялась, будто стеклянные шарики рассыпала, холодно.

— Кроме любви! Не смейся над самыми святыми человеческими ценностями, жизнь мстит. Кроме единения душ на самой высокой орбите чувств!

— Уберите же, прошу вас, руку с моего бедра! И не жуйте мне мочку уха. Неужто наши души, Ярослав Дмитриевич, не могут соединяться как-то иначе? Или только старым способом?..

Он резко поднялся с колен, отошел к окну, закурил, нервно чиркнув зажигалкой, голос глухой, обиженный:

— Вы невозможны. Но ваш холодный скепсис… не погасит моей любви.

Прижался лбом к оконному стеклу, зажмурил глаза: почему жизнь так беспощадна к нему?

— Ой, не могу! Разве я — актриса?! Да я по сравнению с вами, Ярослав Дмитриевич, — посредственность. Играете вы точно в стиле режиссера, который поставил вашу пьесу, но играете почти безукоризненно. Я уже вам говорила, что не люблю играть в жизни. Особенно если мне навязывают сценарий. А вы мне навязываете его с первой нашей встречи. Я называю это лирическим сексом. В провинциальном стиле. Спектакль давно закончился, а вы все еще сыплете красивыми словами. Я с первой нашей встречи поняла, что любить вы, к сожалению, давно разучились. А переспать с девятнадцатилетней женщиной — кому не охота? Я вовсе не пуританка, вполне современная…

— Перестань! — хватил кулаком по раме до боли в руке. — Чего ты хочешь от меня?!

— Чтоб вы не играли со мной, как с девочкой.

Он прошелся по спальне, из угла в угол, вдоль двери, пять размашистых шагов, криво ухмыльнулся.

— Добро, если ты так уж требуешь честности. Я хочу тебя. И было бы странно, если бы я тебя не хотел, ты такая женственная…

— Не надо слов! — резко оборвала Маргарита, отвернулась к стене. На миг Ярославу показалось, что в ее огромных глазищах блеснули слезы, впрочем, от такой потаскушки всего

можно ждать, успокоил себя. Снова опустился на колени у кровати, нетерпеливыми пальцами потянул книзу замочек молнии на платье.

— Не надо, я сама.

Раздевалась спокойно, деловито, будто на сеансе стриптиза, который ему доводилось видеть во время заграничных поездок, будто и впрямь купленная на час за флакон парижских духов, которые все еще лежали в машине. Сняла туфли и колготки. Сняла платье, надела на плечики и повесила в шкаф, оставшись в белье. Французские трусики с цветочком и кружевной лифчик. Ярослав протянул руки. Она отвела их и — холодно, трезво:

— Я приму душ.

Сунула ноги в его тапки, взяла с кровати полотенце и понесла через ярко освещенную гостиную свое гибкое, юное тело. Ярослав прижался лбом к оконной раме. Фонари на обезлюдевшем бульваре выстроились в колонну. На этом самом бульваре он, оскорбленный, корчился, когда Маргарита, та, школьных времен, оставила его в ресторане и ушла. На этом бульваре, назначив ей свидание телеграммой из Тереховки, он напрасно ждал весь вечер, обманывая себя: опаздывает, задержалась на лекциях, но придет, придет… Не пришла. И уже не придет. Те, кто не пришел к нам в юности, уже никогда не придут, и напрасно ждать их, смешно ждать. Да и ты уже другой. Того нет давно. Тот юноша умел влюбляться. А в тебе — все умерло.

Ярослав снова закурил, но от дыма его замутило. Не спасала сигарета.

Маргарита вышла из ванной в чем мать родила, лицо — застывшего манекена, влажная кожа блестела в свете люстры, все тело будто под тоненькой корочкой льда, ни единого живого движения: на журнальном столике взяла сигарету и зажигалку, положила на кресло белье, холодная, вся холодная. Легла поверх одеяла, руки — за голову, глаза — в потолок.

Вот минута, которой ты ждал.

Она твоя.

Иди возьми.

Есть грань загрязнения окружающей среды, за которой все живое умирает. Нет, бунтует, как киты, выбрасывающиеся на берег океана. Есть грань загрязнения души, когда она бунтует, если осталась в ней хотя бы капля живого. Или покорно и на веки вечные умирает. Он думал, что душа бездонна и всесильна, что она самоочищается, сколько бы ни лил в нее грязи. Как долго верил, что и талант неисчерпаем, что его хватит на все — на однодневки, ради хлеба насущного, роскошной машины, дачи, и всего, всего, что ему хотелось иметь, чтобы выделиться среди других, кто не имел или не хотел иметь всего этого, чтобы теперь съесть и износить все то, чего не хватало ему в детстве. Но способность человеческой души самовозрождаться, нейтрализуя грязь, оказалось, не бесконечна. Рано или поздно наступает кризис. Экологический кризис человека. Самоотравление — и протест совести. Крик совести. Отчаянный. Совесть молчала, когда насиловал себя за пишущей машинкой. Совесть молчала, когда нес в издательство толстенные рукописи, сознавая, что в них нет ничего, кроме пустых слов. Совесть молчала, когда снимался для газет с дояркой в дни торжественных выездов в колхоз, когда запечатлевал себя на фоне фермы, хотя он был

совершенно равнодушен к заботам и радостям этих женщин. Совесть молчала, когда оббивал пороги высоких инстанций, потрясая пухлыми томами своих книг, выбивая квартиру престижнее, чем жилье товарищей по перу. Совесть молчала и тогда, когда звонил Ксене от любовниц и ронял в трубку утомленным баритоном: "Еще не спишь, любимая? Я задержался в библиотеке, скоро буду, тут, понимаешь, старопечатные книги, напал на потрясную публикацию, на грани открытия. Хоть сейчас садись и пиши диссертацию". "И пиши, любимый, — отвечала Ксеня. — Тебе не помешает докторская степень. Пиши, дорогой, но не на коленях у нее..." "У кого?! Ну что за подозрения, я тут не разгибаясь работаю!" — искренне возмущался он. "Работай, работай..." — снисходительно говорила Ксеня и вешала трубку.

Столько лет молчала совесть!

И тут — спазм совести, инфаркт совести, и душа его, как огромный океанский кит, выбросилась на песок, задыхалась, и умирала, и не могла умереть, потому что оставалась в ней крупица того, что не умирает. Никогда не думал, что можно так себя ненавидеть.

Взял подушку с кровати и потащился, спотыкаясь о ковер, в гостиную. Выключил свет, швырнул подушку на диван и упал на него. Свернулся калачиком, как в детстве у печной трубы, после несправедливых укоров мачехи. Слышал, как время от времени пробегают мимо гостиницы машины — наверное, ночные такси с вокзала. Слышал, как в ванной капает вода, Маргарита плохо закрутила кран. Слышал, как она закурила сигарету, потом еще одну. Слышал, как Маргарита одевалась — платье шуршало, совсем как солома, когда он устраивался под скирдой, на уголке пакульского поля и с трепетом раскрывал книгу, еще не читанную, только что из библиотеки, словно вчера это было, а жизнь, считай, прожита, осталось

благополучно докатиться по уже проложенной колее до станции назначения… Потом Маргарита подошла, села на краешек дивана, нашла его руку:

— Прости. Но ведь ты только этого хотел. Так все и задумал. Выдумал и меня. И все, что между нами может быть. Я только выполняла твою волю, а ты мне действительно не безразличен. Может, когда-то у нас еще будет все по-настоящему.

Ярослав молчал, и она виновато спросила:

— Ты ненавидишь меня?

— Я себя ненавижу.

— Я пойду, — сказала погодя. — Посижу до утра на вокзале.

— Не уходи. Без тебя мне совсем плохо.

Взял ее руку, прижался щекой к ладони.

Она легла рядом, как была, в платье, тоже калачиком, по-сестрински касаясь коленками его коленей, теперь обе Маргаритины ладони холодили его горячее, будто в болезненном жару, лицо.

— Все… Все. С завтрашнего дня буду жить по-новому. Выберусь из своей бумажной трясины. Поеду на БАМ или еще куда-нибудь, где работают и живут в полную силу. Нет, — в колхоз. Без фотоаппаратов и корреспондентов. Не для галочки в плане мероприятий по связи с жизнью, а для того, чтобы писать и жить по-настоящему. Или шофером в колхоз, хотя бы

на полгода, на весну и лето, никому не скажу, кто я, мол, хочу подзаработать, чтоб не боялись люди мне душу свою раскрыть… Если б ты слыхала, как и что они говорят, только записывай, как сегодня на бураках! Напишу книгу рассказов — "Характеры". Впрочем, это, кажется, уже было у Шукшина. Ну что-то другое, но в этом духе. Из жизни. Не из головы. И серию статей: "Думы колхозного шофера". Здорово, правда? Ксене и сыну скажу: хватит бегать наперегонки с семьей мясника из соседнего подъезда — у кого лучше чехлы на сиденьях машины, у кого дороже гарнитур или люстра… Мы интеллигенты, хоть и нету такой графы в анкетах. А интеллигенция всегда была впереди, когда речь шла о морали, духовном богатстве. Интеллигенция первой шла на самопожертвование во имя высоких общественных идеалов… Так им и скажу, как хотят… Не буду больше гнать погонные метры прозы. Я развратил их легкими деньгами. Мне хотелось получить от жизни сразу все. Думал: еще одна книга наспех, еще, а настоящее создам потом. Я не понимал, что Муза измены не прощает. Думал, что с ней можно, как с Ксеней: шесть вечеров в неделю — с другими, а в воскресенье — вечер улучшения семейных отношений… А кто уходит от богини, то это уж навсегда, но чувствую, есть еще силы все начать сначала. Ты в меня веришь?

— Верю, верю, Славочка. Ты еще молодой, энергичный. Ты еще все сможешь.

— Когда начинаешь все сначала, надо, чтоб кто-то в тебя верил. Я знаю, Ксеня рассмеется: ты семь раз в неделю курить бросаешь. Именно так и скажет. Но я и курить брошу. Теперь уже всерьез, навсегда. Мне теперь прожить надо долго-долго, чтоб возместить утраченное и успеть сделать все, что суждено. У меня есть целая тетрадь с темами для книг, которые я хотел написать, но все откладывал на потом. Вот

оно — потом — и пришло. Или теперь, или уже никогда. Повтори, что ты веришь в меня.

— Верю. Могу поклясться. Глупенький, разве ты не знаешь: когда любишь — веришь? Без веры в человека нет любви.

— А ты всерьез любишь меня, такого старого и плохого?

— Нет, в шутку… Ты не старый и не плохой, ты только прикидываешься иногда плохим. Ты добрый. А я не так уж много встречала добрых. Мужчин. Я влюбилась, как школьница. После первого твоего появления в театре. Только не смейся надо мной. Никогда не смейся, слышишь?

— Я не смеюсь, я тебе так благодарен. Ты гениально почувствовала, я не способен был никого любить, кроме себя. Но теперь я стану другим, и ты мне поможешь. Настоящим писателем, таланта мне не занимать, и когда-то о нашей любви напишут книгу, биографы завистливо станут фантазировать, не поскупятся на многоточия, а мы назло им и всему свету будем любить друг друга чисто, честно. Как духовные брат и сестра. А с Бермутом я завтра рассчитаюсь за услуги и скажу: прощай, дед, на веки вечные, не хочу больше тебя ни видеть, ни слышать. Теперь давай немного поспим. И сигареты выкину, чтоб ими тут и не пахло. Конечно, поначалу будет очень тянуть, но силы воли у меня хватит. Ну, бай-бай, моя Маргарита. Завтра о многом надо подумать. Начать все сначала — заново родиться…

Было приятно засыпать, зная, что проснешься другим человеком. Все, что есть в тебе плохого, бесследно сгорит, а на пепелище зазеленеет молодая поросль. Так засыпал он в детстве, решив, что завтра станет отличником и поведение станет образцовым, и ни с кем в классе не будет задираться, и

все-все его полюбят, даже учителя, которым он досаждал на уроках посторонними вопросами, даже мачеха. И Ярослав уснул, отгороженный от всего дурного ласковыми женскими ладонями, которые пахли французскими духами и сигаретным дымом.

Проснулся под утро — уже серело в окнах. Вырвался из сна, как из ловушки, сердце колотилось в груди, все тело сотрясала дрожь, выступила испарина. Маргарита гладила его по голове, как маленького:

— Что с тобой, Славик? Ты так кричал во сне.

— Обними меня, обними. Такое безумие приснилось. Какое-то кладбище, вроде бы наше, пакульское, послевоенное, потому что без крестов, кресты в войну в печах пожгли. И такое огромное — как поле. А я по самую грудь в яме и — выкарабкиваюсь. Сдуреть можно, такой вдруг кошмар. И страшный шум, вроде с того света, а мертвые меня хватают. Обними, пожалуйста, обними… Чувствуешь — весь дрожу.

— Ничего, сон этот к добру. Было плохо, а станет хорошо, выкарабкаешься. Меня бабушка научила сны разгадывать.

— Обними, — повторил он уже нежнее, всем телом прижимаясь к Маргарите, стремясь к ее живому теплу от могильного холода сна. Рядом с Маргаритой и его тело оживало, кровь пульсировала быстрее, зажигалась огнем. Жить, жить! Жить каждое мгновение, выпавшее тебе, ведь впереди ничего, только могильный холод. Он еще сильный, полон желаний. Еще женщины в его руках покорны, как воск. А женщины — это и есть жизнь. Настойчиво приподнял подол Маргаритиного платья.

— Не надо, ну прошу вас, не сегодня, — отстранилась Маргарита. — Вы все снова испортите.

Но когда Ярослава охватывало желание, остановиться он не мог.

И только когда все кончилось и пришла вялая трезвость, приходившая к нему всегда, когда он любил так, как сегодня, не любя женщину, а только желая ее тела, Ярослав, в изнеможении откинувшись на подушку, пожалел о случившемся. В школе он решал стать отличником и образцовым учеником чуть ли не каждый понедельник, но приходил понедельник — и ничего в его жизни не менялось. Нащупал на столике сигареты, зажигалку, закурил.

— Вы же бросили курить с сегодняшнего дня… — донесся из серых предрассветных сумерек отчужденный, насмешливый голос Маргариты.

Ярослав молчал, жадно глотая горький, но казавшийся таким спасительным дым.

(А что он может сказать, мой Ярослав Петруня? И что могу сказать я? Герой мой пробежал круг и снова потащился по своим следам. Уже в который раз. А с героем — и я, настоящий Ярослав Петруня. Не так надо было писать. Кому это нужно, длиннейшее описание целого дня и половины ночи? Скукота. Все. Я — литературный импотент, не способен довести до ума ни одной вещи, не романы, а длинные, заунывные вопли. Вступление к вагнеровскому "Тангейзеру". А надо было начинать с мальчика под скирдой, с книгой на коленях, на полоске пакульского поля, с дядьки Калайды надо бы начинать. И я снова и снова мысленно возвращаюсь на сжатое поле, где пасется моя Рохля, где золотится в предзакатном

солнце скирда и я — с книгой, и дядька Калайда, воспоминания о котором я так тщательно вычеркивал из своей памяти.

Начинаю сначала.

Если бы можно и жизнь вот так — начать с первой страницы! Судьба, дай мне силы.)

Книга третья

МАЛЬЧИК С КНИГОЙ

Многое забылось и забывается, навеки теряется в потоке времени, а это живет со мной всегда: полоска поля меж пакульским кладбищем, оврагом и шляхом, стерня в утреннем тумане и на стерне свинья, в ложбинке, над оврагом, где пшеница полегла — комбайн не захватил ее. А под скирдой соломы — мальчик с книгой, выпуклый лобик под выгоревшей челкой, любопытные, чуть лукавые глазенки. С годами воспоминание не отдалялось, напротив — приближалось, становилось четче, выразительнее, и я уже видел капли росы, нанизанные на паутинки бабьего лета, а там, где до скирдования стояли копны соломы, густо натыканы соломенные шляпки мышиных гнезд, ступать по которым мягко и тепло. А в скирде мальчишка прогреб нору и прятался в ней прохладными сентябрьскими вечерами, и тогда из соломы торчала одна его голова — над книжкой.

С годами воспоминание словно отделилось от меня, разорвав пуповину, соединяющую нас: мальчик с книгой был я, Ярослав Петруня, еще в пакульскую эру, но такую далекую, что казалась мифом, и я стал существовать сам по себе, поверил, что стерня в тумане, и свинья в ложбинке, и скирда, и

мальчик под скирдой существуют и ныне, неподвластные времени, его могучей неуловимой быстрине, которая так немилосердно старила меня, еще совсем недавно, вроде бы вчера, — молодого человека. И казалось: достаточно сесть в машину, проехать несколько сотен верст, отделяющих мой Пакуль от моего Киева, — чтобы все это увидеть воочию…

Но столько лет не было внутренней потребности в этой поездке.

А сегодня, после спектакля, разыгранного Бермутом, после ночи в гостинице с Маргаритой, почувствовал, что не смогу прожить и дня, если не поеду в Пакуль и не встречусь с самим собой, на полоске поля, между кладбищем, оврагом и полевой дорогой, по которой четверть века назад ушел я в широкий мир, оглядываясь с каждого пригорка на село, которое становилось все ниже и ниже, словно на глазах тонуло, со стрехами хат и поржавевшим куполом церкви, в торфянистом полесском черноземе.

Сегодня село, наоборот, всплывало, выбивалось из-под земли, точно такое, каким я помнил его с детства — со стрехами, ригами, крылатой водокачкой, со старым колхозным садом, еще не выкорчеванным (горы яблок — шафранных пепинок — алели у сложенного из подсолнечного околота шалаша), и кладбище было маленьким, там, где потом похоронят отца, еще зеленела озимь, и сухой вяз еще высился на краю села, где Юрко Бублик, который станет председателем колхоза в Пакуле, построит новую молочную ферму. А на вязе — гнездо аиста.

Я вырулил на обочину дороги, на выгоревший за лето, порыжевший спорыш, и выключил мотор.

Открыл дверцы, осторожно опустил ноги наземь. Словно боялся оторваться от своей антрацитовой "Волги". От уютного микромира, к которому привык. Без машины я, что черепаха без панциря. Разве что на суп гожусь. Пять минут самокритики. Запоздалое раскаяние интеллигента в первом поколении. Психологический этюд. Здесь где-то я оставил детство, а где — ищу и не найду… Ноги — в модных финских туфлях, знаменитая фирма, в австрийских шерстяных носках, на финские туфли и австрийские носки оседает серая пакульская пыль. Написать роман о моих босых ногах. О моих многострадальных босых ногах. Исколотых жнивьем, в синяках от комьев, вымороженных на осенних и весенних тропках, вымоченных в ледяных лужах, о моих бедных ногах в обувке из натуральнейшей пакульской грязи. Больше всего доставалось им — ногам. Потому что они соприкасались с землей. До последнего часа своего буду чувствовать иголки в подошвах ног, поздней осенью, когда по вечерам леденеет земля.

Но ты приехал сюда не для того, чтобы оплакивать свои босые ноги. А зачем? Чтобы снять финские башмаки и под стрекот кинокамеры прошагать по пыли, на которой следы твоих детских ног? Таков сценарий Ивана Ивановича Бермута, прочитанный и одобренный тобой. К черту! Все к черту! Истерика. Истеричный интеллигент в первом поколении. Потом родятся интеллигенты, более приспособленные к городской жизни. Рационалисты. Без гастритов от недоедания в детстве, без деревенских комплексов. Навитаминизированные с детства: апельсины, яблоки, сок манго и сок виноградный.

Хватит!

Я запер машину. Хотя можно было и не запирать. Кому она нужна здесь, на краю поля, в полесской глуши начала пятидесятых годов, когда еще колхозная полуторка — чудо,

еще двор, в котором есть велосипед, считается богатым, еще я бегаю за финагентом, а потом объездчиком Покрышнем, который привез велосипед из Германии, и канючу: "Прокатите, дядько!" Покрышень разрешает сесть на багажник при условии, что я буду орать на всю улицу: "Аршин Малалан! Аршин Малалан!" Про Малалана по радио тогда пели, и радио — в хате Покрышня, в светлице, по воскресеньям финагент открывал окно — все соседи сходились к его двору слушать. Моя "Волга" по тем временам — все равно что марсианский космический корабль опустился за селом, в поле. Я уже тогда был нашпигован научной фантастикой и верил, что марсиане прилетят в Пакуль, именно ко мне… Я пасу свинью за селом, на полоске, нигде никого, вдруг на жнивье с неба опускается что-то такое невиданное, открываются дверцы, меня подзывают, меня потому, что я — это я, больше никто из всех землян им не нужен, из миллиардов они выбрали меня. Но даже в мечтах не было, что однажды — вот в такой предвечерний час — встречусь с самим собой, из будущего.

Пусть подождет тот, что у скирды, помучается неизвестностью: кто приехал? Может, не выдержит, бросит свою книжку и свинью в лощинке и прибежит к машине. Не прибежит. Гордый. Но ведь орал на всю улицу, умостившись на багажнике велосипеда Покрышня: "Аршин Малалан! Аршин Малалан!" Ворчливый я стал. Ворчу на самого себя, малого. Ревность. Зачем тогда приехал? Потому и ревность, что я к нему приехал, не он. Паломничество в Мекку — на пакульскую стерню, в пакульские лужи. "Навозик ты мой родненький!.." Комплекс деревенщины. Клеймо селянина. Не надо было ехать. Сюда.

А куда?

На части разваливаюсь. Как самолет. Еще лечу, а уже отвалились стабилизаторы, отломалось крыло, и второе, и уже

воздух не держит, хоть двигатель еще ревет, криком исходит, цепляется за иллюзию существования, давно обреченный, и вот — стремглав в пропасть.

Слова, слова.

Потому что ты весь соткан из слов.

Из слов, не обеспеченных золотым запасом жизни твоей.

Кому слова́? К-о-о-му слова́?!

Я перепрыгнул канаву, еще глубокую — кладбище обкопали вскоре после войны, с годами земля осыплется, канаву занесет листом, и она станет почти незаметной для глаза. Еще позже кладбище отгородят от поля заборчиком и каждой весной будут красить в зеленый цвет. Кладбище будет разрастаться, наступая на поле, потому что сюда за десятилетия, с тех пор как я уехал из Пакуля, переселится большинство из тех, кто сегодня еще пашет, косит, жнет. И мой отец переселится на кладбище, следом за одногодком и соседом Артемом, зимой, в лютую январскую стужу. Могильщики будут жечь костер, чтобы оттаяла земля, и бить ее ломами. А после похорон будет белая морозная ночь, месяц полный, как жернов, который ты столько крутил в детстве, орошая слезами и пóтом, висит над полем, над кладбищем, такой месяц близкий, что можно достать рукой; мы с мачехой проводили за ворота последних подвыпивших на поминках соседей, которые все порывались петь, стоим во дворе, залитом лунным холодным светом, и мачеха говорит: "Вот уж отец с Артемом наговорятся. Артем не успокоится, пока все сельские и закордонные новости не разузнает". Я гляжу на заснеженную пустыню кладбища с темнеющими крестами-антеннами и вижу отца своего и Артема, они присели на

могилу и плетут долгую нить разговора, как когда-то на меже своих огородов…

Перепрыгнув канаву, я пошел по целине, там похоронят моего отца, а может — когда-то и меня похоронят, если я оговорю в завещании, чтоб меня похоронили здесь, среди односельчан, на краю пакульского поля. Иду меж могил, безымянных, бескрестных, меж зеленых волн человеческого моря. Неподалеку от глинища — могила матери; запомнилось с похорон (поздней осенью, моросил холодный дождь): раскисшая глина вокруг последнего пристанища матери, тонкая дорога, по которой возвращались в село, смеркалось, с ноля плыл промозглый туман, кто-то дал мне моченое яблоко… Позже я буду искать могилу, чтоб поставить ограду, и не найду, и никто в селе уже не будет помнить, где похоронили мою маму. А сегодня на могиле матери еще стоит крест, сбитый из кривой ветки вербы, сам отец сбивал, до лета, говорил, а летом вытешу дубовый. Но так и не вытесал. Познакомился с заневестившейся дивчиной из соседнего села, у которой было два сундука приданого и телка, и вскоре привел мне мачеху.

И вот я стою у могилы матери. Куст сирени в изголовье. Думать бы о чем-то значительном, но ни о чем таком не думается. А может, нужно не думать, а чувствовать. А что надо чувствовать? У материнской могилы, о которой, когда вырастешь, даже знать не будешь толком, где она. И карточки матери я так и не найду, хоть фотографировалась она до войны со своим передовым звеном. Буду ходить по селу от хаты к хате, но поздно уже искать довоенные фотографии. Думай о лирическом. Лирическая грусть. Лирическая грусть у могилы матери — это понял и одобрил бы даже Бермут, сентиментальный, как все мы, украинцы. Бермут в подпитии поет, бренча на гитаре, нежные украинские песни. Народные, конечно. Лирический этюд — сирень на могиле матери. Цикл

этюдов. В своем новом цикле этюдов Ярослав Петруня затрагивает тему любви к матери…

Током ударило. И шелуха слов спала с души. Оголенная душа снова чувствовала. "Здесь покоится тело Ульяны М. Петруни" — вырезал стамеской отец на кресте. Лицо мамино забыл, помнил руки. Гремит в небе, где солнце спать ложится, немец подходит — тревожно гомонят женщины, и он на материнских руках, жмется к груди, к материнскому телу, теплому, любящему, единственному во всем мире, таком неуютном, таком сердитом, грохочущем. Нет уже материнского теплого тела, давно слилось землей. Стать снова маленьким, прижаться к ее груди: защити, спаси, посоветуй, как жить! Впрочем, не надо совета (если бы и жива была, не поняла бы: хорошо устроился в Киеве, есть квартира, есть хлеб и к хлебу, что еще нужно человеку?..). Но тепло-то — нужно. Недолюбили его маленьким, недогрели. А если душа в детстве тепла недобрала, всю жизнь будет зябнуть.

Оглянулся: нигде никого, только кресты вокруг да солнце уже багровеющее. Мальчик под скирдой не отрывает глаз от книжки. Я опустился на колени, коснулся ладонями заросшего травой холмика под сиреневым кустом. Минет лет десять или больше, пока я вырасту, что-то пойму в этом мире и буду искать могилу матери. К тому времени крест упадет, могила осядет, затеряется, и от матери останется на земле один след — я, Петруня Ярослав.

Из-под травяного покрывала земля дышала в мои ладони холодом.

Венец земной жизни.

И я вспомнил. Еще мальчишкой, таким, как под скирдой, с книжкой на коленях, мечтал: где-то когда-то, через тысячу лет, такой же мальчик будет пасти свинью на жнивье и читать мою книгу, и через тысячу лет я заговорю с ним с ее страниц и скажу, что жил, думал о будущем, чувствовал красоту неба, и земли поднебесной, и каждого цветка, и каждой паутинки в росе, но для этого надо построить из слов, напечатанных на бумаге, мост через тысячу лет — от себя, от своего поколения к мальчику, что будет жить после меня…

Мальчик с книгой ощущал реку времени, неостановимо текущую через нас, и наивно стремился перейти ее, поспорить со смертью, с граничностью земного бытия.

А когда он вырос, этот мальчик, и стал нынешним Ярославом Петруней, известным, талантливым и т. д., насытился, оброс жирком, — он перестал ощущать течение времени, как перестаешь ощущать теплую воду, когда лежишь на спине, раскинув руки-ноги, наполнив грудь воздухом, убаюканный, счастливый переживаемым мигом, и вода, мягкая, ласковая, нежная, несет тебя от невидимых берегов, от живых голосов, которые ты не слышишь, потому что закрыл глаза и заткнул ватой сытого покоя уши, а видишь и слышишь только себя, в ласковой воде, которая пестует твое разомлевшее тело…

И ты вырабатываешь мертвые слова.

А если мальчик, тот, который появится через тысячу лет, так же будет мечтать о встрече со мною на мосту через реку времени, на мосту, построенном из моих слов, и сегодня он разочарованно наблюдает за мной со звезд, или куда там течет время; в фантастических романах машина времени движется по вертикали, и счетчик отсчитывает столетия, как в современном лифте — этажи. А может, он, мальчик из

будущего, хотел встретиться на мосту, который я должен сложить из честных слов, с моей матерью, все сорок прожитых ею на земле лет не разгибавшей спины — то с тяпкой, то с серпом; даже в мыслях не заносилась она в такое далекое будущее, но трудом своим готовила его, и с моим отцом, и с дядей Артемом, и со всеми теми, кто лежит под зелеными волнами безымянных могил, и возможно, что-то важное не произойдет в далеком будущем, на крутой амплитуде времени, по которой трудно восходит род человеческий, не произойдет потому, что Ярослав Петруня не возвел мост из страстных и правдивых слов в полную силу своего таланта, наплодив слов мертвых?

Опустив голову, Ярослав Петруня ушел с кладбища.

Я ступил на стерню осторожно, как на край лодки, которая вот-вот качнется и поплывет. Но стерня не качалась и не уплывала из-под ног, стерня была настоящая — не выдуманная за письменным столом и привидевшаяся во сне, высокая, потому что здесь, у дороги, комбайны разворачивались, а пыльный шлейф дорожной пыли оседал на нее с начала жатвы; носки моих финских башмаков и штанины внизу сразу же замутились. Серебрилась паутина, натянутая меж стернин, мыши ныряли в норки, шмель качался на цветке клевера. Стерня мягко пружинила под подошвами, а ноги саднили, иссеченные, поцарапанные выше косточек, как в годы, когда я пас Рохлю на этой полоске жнивья, — тело запомнило все.

А когда я оторвал глаза от поля — увидел мальчика с книгой. Мальчик лежал вниз лицом на соломе, надерганной из скирды, а ноги его торчали в небо, черные, словно в тапочках из пакульского чернозема, широкие, растоптанные пятки, длинные темные ноги. Но на самом деле мальчик был не на этой полоске поля, под скирдой. Он был где-то там, далеко-далеко, в мире книги, которую читал. Никогда потом не читал

я так увлеченно и самозабвенно, как в детстве. Вернуть бы хоть на миг эту счастливую способность переселяться в миры, нарисованные чужим воображением, — и, кажется, больше ничего не нужно в жизни. А может, только так и можно было в Пакуле тех лет, сироте, остро переживающему свое и чужое горе. Я кашлянул. Мальчик читал. В волосах его торчали колючки. Ситцевая рубашонка задралась, открыв худенькое тело, ребра светились сквозь загорелую кожу. Тоненькая, как соломинка, шея. От внезапно нахлынувшей нежности защемило в глазах. "Неужто это я, Ярослав Петруня, известный, талантливый и т. д.?" Мгновенное ощущение физической общности.

Сантименты, конечно. Смешные. Ненужные. За довольно короткое время клетки тела полностью обновляются, неизменной остается разве что общая конструкция, заложенная в генах. Наслаждаться тем, что имеешь, а не блукать по годам своей жизни. Ксеня права, он разучился радоваться: "У нас сейчас есть все, что нужно человеку, и даже больше, и не гневи судьбу, самоедство еще никому не прибавляло лет". Его Ксеня — образец рассудительности. Если бы послушал ее, не приперся бы на эту полоску пакульского поля в поисках того, чего давно нет. Неслышно, на цыпочках, чтоб не хрустнула стерня под финскими туфлями, отступить, нырнуть в машину и исчезнуть, раствориться во времени, не мытаря душу ни себе нынешнему, ни прежнему. И все пойдет как обычно. Я еще на сутки останусь во Мрине, уговорю Маргариту прийти в номер, любящие женщины уступчивы, вопреки всем своим моральным догмам. Обнимая одной рукой Маргариту, другой наберу номер домашнего телефона. "Любимая, я так по тебе соскучился..." — скажу Ксене нежным голосом и, пока она будет отвечать в тон мне, успею поцеловать Маргариту. "Что? Сколько спектаклей дадут? — Отпив шампанского из фужера Маргариты, мы будем пить из одного фужера, отвечу: — Сочиняют еще выездной вариант

для села… Кап-кап, по копеечке, пока не накапает тебе на канадскую дубленку". — "Целую, любимый". — "Целую, любимая". И жизнь вновь войдет в свою привычную колею, и привычно, легко покатится по годам, пока однажды не ухнет в бездну, называемую смертью. Референты напишут некролог, заглядывая в писательский справочник, дежурный секретарь правления обкатанными словами откроет на кладбище митинг, слово от ровесников — тех, кто переживет его (впрочем, переживут немногие, если жить, как он жил до сих пор: те, кто горит над рукописями, сгорают раньше, а он будет тлеть долго-долго), и слово от молодых — кого-то попросят, обяжут — от поколения, делающего первые шаги в литературе. Молодой, торопливо проглядывая в справочнике биографию Ярослава Петруни, удивится, как много написал он книг, о которых все давно забыли, даже критики, и еще раз утвердится в мысли, что в литературе количество исписанной бумаги не весит ничего, весомы только талант и правда написанного, и это будет единственно полезное дело от долгого пребывания Ярослава Петруни на земле. После церемонии похорон Ксеня устроит прием с коньяком, икрой и красной рыбой, тут уж она не поскупится, посоревнуется со вдовами ранее умерших коллег. Молодой принципиально на прием не придет, а, сидя за столиком писательского кафе, скажет друзьям: "Уговорили выступить у гроба этого графомана… А вы знаете, что Ярослав Петруня — автор ста семи повестей и романов, да кому они нужны, эти его сто семь повестей и романов, кроме сборщиков макулатуры?" Ксеня, конечно, поставит ему памятник из черного мрамора. Может, антрацитового, как его "Волга". А может, черного мрамора и нет в природе? Ксеня достанет — на Венере, на Марсе, в другой Галактике, в антимире: "Только чтобы было как у людей…"

И я сказал, чувствуя — сейчас или никогда:

— Ну что, уважаемый, художественную литературу почитываешь, а свинья — в потраве?

Мальчик неохотно оторвался от книги, глянул на белую спину свиньи, в ложбинке, поднял на меня затуманенные глаза:

— Не-е, ёна пасется.

Этот призабытый им давно пакульский говорок. Эти глаза, карие, с темными ободками вокруг зрачков. Эти широкие полесские скулы. Я вынул сигарету, щелкнул зажигалкой, хорошо, что не бросил курить, в такие минуты выручает. Руки дрожали, спрятал зажигалку в карман кожаного пальто. Конечно, мальчик не узнает себя (таким, как сегодня, он станет через много лет), эксперимент вполне безопасный. А поглядывает как волчонок, упрямый и некоммуникабельный. Ничего, жизнь обтешет. Научится улыбаться знакомым и незнакомым. Улыбка Ярослава Петруни — маска Ярослава Петруни. Ученые занимаются проблемами контактов цивилизаций. А кто научит контактам с самим собой — двенадцатилетним, если тебе уже — за сорок? Я несправедлив к нему. К кому — к этому свинопасику?!

— Представь себе, я — с Марса, — и загадочно улыбнулся. — Фантастику любишь? Аэлита… Аэлита… Так вот, я оттуда. Не веришь? Взгляни на дорогу, какая у меня машина. Ты такую видел машину?

— Нее, я тольки "Победу" видев, у городе. Красивая у вас машина…

— А хочешь такую?

— Так вы ж все одно не отдадите, если и захочу. Я лисапед хочу. Говорят, тысячу крылышек от хрущей надо сдать — и лисапед дадут. А мне жалко хрущам крылья отрывать, хоть они и вредители.

— Если очень захочешь, все можно иметь, ты это запомни. И даже вот такую машину, и еще лучше. Закрой глаза, убеди себя, что ради такой машины ничего не пожалеешь, даже души, как в сказках. Откроешь глаза — и машина ждет тебя. Впрочем, откуда тебе знать, что такое — душа!..

— Я у церковь не хожу. — Пастушок застегнул верхнюю пуговичку рубашки. — Мачеха в церковь ходит. Бога нет, учитель физики знает. А если б и был, я ему не простил бы, что он маму у меня забрал…

— Бога, может, и нет. А душа — есть. Только смолоду мы ее не бережем. А когда спохватимся, от души уже одни ошметки остались. Да перед кем я выступаю! Словно ты можешь понять! Тебе это нужно? Царствуешь на своей стерне — и царствуй. Вспомнишь потом, но ничего этого уже не станет, все совсем, совсем другое… Позвольте, уважаемый, и я присяду.

Не сел, а лег, лицом в небо. Солома была теплая, нагретая сентябрьским солнцем, ласковым, как материнская ладонь. Этот мальчик еще помнит, наверно, мамины руки. А он все забыл, даже как пахнет солома. Боже, как она пахнет! Он и впрямь — словно марсианин, впервые опустившийся на землю. Сколько лет живет в другом мире — мире машин, асфальта, аэродромов. А пишет про эту же солому, про поле. Пишет, роясь в памяти. Память, как пластинка, стирается. А слова — теряют силу. От частого и неточного употребления. Автомат, производитель слов: "Солома пахла осенью. А осень была настояна на запахах увядших трав, созревших плодов,

духовитого чебреца, грустных утренних туманов...", и т. д. и т. п. Как можно возненавидеть слова! А написать, что солома пахнет осенью, — ничего не написать.

Солома пахнет соломой. Терпкий хлебный, с горчинкой запах. Чуть хмельной. Запах дрожжей. И мышей. И нагретой за день земли, которая уже начала остывать. И запах пыли. И запах травы, лебеды и полыни, взявших скирдовище в зеленый плен. Мальчик счастлив, потому что живет в ограниченном пакульском мире. Счастье — это ограниченность. Мальчик еще не распят на крестовине из вчера и сегодня. Не смешно разве искать истину в соломе, пропахшей мышами и пакульской пылью?

Я резко поднялся.

Пастушок глядел на меня широко раскрытыми, гневными глазами:

— А вы, дядько, не с Марса, а должно, шпийон, потому что курите американские сигареты, я уже грамотный, по-английскому прочитать могу...

— Из Киева я, — вздохнул. — Журналист. В газете работаю. Стихи свои нам присылал?

— Присылал, да не пропечатали и не ответили.

— Считай, ответили, если я заехал. Был во Мрине по делам, дай, думаю, загляну. Веришь, нам много присылают, всем не ответишь. Но тебя я запомнил, талант имеешь, хоть техники — ни на грош. Но это придет, со временем, научишься. Будешь строчить как пулемет...

Но мальчик не заметил моей иронии.

— Мне бы книгу такую, чтоб там сказано было, как писать. Я прочитаю и научусь. Где такую книгу купить? Я железа и костей насбираю, заготовителю отвезу — на книжку хватит, — захлебывался мальчишка.

Я не прерывал. Пусть выговорится, самоуверенный щенок. Ишь, как покраснел, щеки надул. Писать хочет. Но это единственное, что выделяет его, тщедушного, самого маленького в классе, неухоженного из одноклассников. Комплексы. Уже комплексы. А я спешил, как к чистому колодцу. К роднику…

— И без тебя желающих много. Бумаги не хватает…

— Я напишу такое, про что никто не напишет.

— Ого! А про что ж ты такое напишешь?

— Про тетку Алену, про дядьку Матвея, про дядьку Артема, про отца, про всех. И про себя.

— А кто ты такой, чтоб писать про себя?

Вывел-таки из себя свинопасик! Туда же, исповедоваться желает! Даже я не позволяю себе этого — заглядывать в подвалы своей души. Живем раздельно: моя проза — это одно, а моя персона — совсем другое.

— Ярослав Петруня я…

"Да я же Петруня, я! А ты еще никто, сопляк самоуверенный!" Но сдержался, не заорал, путешествия в детство требуют осторожности. Лишь иронически улыбнулся:

— Сладкое любишь, небось?

— Люблю. А вы откуль знаете?

— Я все о тебе знаю. Любишь нынче, будешь и потом любить, когда вырастешь. Но за сладкое в жизни приходится платить.

— Мне бы, дядько, один только раз халвы от пуза — и все!

Я засмеялся:

— В жизни не только халва сладкая, много чего, придет время — узнаешь.

— А когда оно придет?

— Не гони лошадей, — ответил я словами Маргариты. — Может, вот здесь, под скирдой, — лучшие твои дни, и ты еще много раз к ним в мыслях вернешься. Когда-нибудь приедешь сюда на такой же, как у меня, машине, да… только машина будет спасать тебя от комплекса неполноценности, только в роскошной "Волге" будешь чувствовать себя писателем… Приедешь и скажешь себе: "Вот здесь, на полоске поля, я мечтал быть настоящим писателем, а не продавцом слов…"

Он молча смотрел на меня такими похожими на мои глазами и ничего не понимал. Конечно, куда ему. Это придет потом. Когда уже поздно будет. А может, понять — никогда не поздно?

— Вы, дядько, какой-то такой… вроде вас из школы выгнали и за отцом послали…

В наблюдательности этому юнцу не откажешь.

— Я сам себя выгнал.

— Разве такое бывает?

Когда это началось? Разве эта малявка знает, как в сорок лет можно бояться альбома, на вишневой, искусственной кожи обложке которого золотом оттиснуто (Ксеня расстаралась для будущего музея…): "ЯРОСЛАВ ПЕТРУНЯ". Вот ему пять годочков, первый фотограф в послевоенном селе, из Мрина, на Общем дворе, поросшем спорышем, голова фотографа — в черном сундучке. "Смотри, Ярославчик, сейчас вылетит птичка!" Широко распахнутые, любопытные, чистые глазенки, а следующее фото — лет в четырнадцать, фотографировался для комсомольского билета — худое, аскетическое лицо, честность — острая, как лезвие косы, отбитой и правленной отцом, косы, что звенела на ветру, это были годы его наивных и безнадежных споров с теткой и дядей о смысле жизни, идеалист, максималист, как теперь бы сказали, деньги — пережитки, одежда — пережитки, собственность — пережитки, немного книжный, но отчаянный романтик; и еще — через пару лет — снимок групповой, с мринскими литкружковцами: тот же романтический порыв, те же чистые глаза, но уже заметно желание придать лицу значительность; и вот Тереховка, у домика редакции: гордо вскинута голова, руки — сложены на груди, маленький районный Мефистофель, провинциальный актер, но сквозь позу еще просвечивается, словно солнце сквозь редкие тучи, мечтатель с этого вот поля, фантазер, чудак, который верит в справедливость и критикует в областной газете руководство своего района…

С годами фотографий становится больше, и кажется, что тебя снимали замедленной съемкой на протяжении десятилетий: видишь, как меняется твое лицо, как проступают па нем твои измены самому себе, и уже не себя угадываешь, а созданные тобой маски, и глаза уже глядят в сторону, и свет из глаз не лучится, как в детстве, словно тень легла на глаза твои, кончик носа становится похожим на флюгер, а лицо — хитрым и самоуверенным, лицом человека с трухлявой, как пень старой вербы, душой. Особенно когда фотографу удается захватить меня врасплох, и я не успеваю натянуть одну из многих своих личин. Тогда я со своим подвижным, острым носом, косым взглядом похож на мелкую, но хищную птицу; склонив голову набок, она косится на лакомый кусок: вот-вот клюнет…

— Теперь я знаю, дядько, откуда вы! Вы прилетели на машине времени! Из будущего! Вы давно за мной следите, оттуда. Я еще совсем маленьким был, когда ваш корабль в поле приземлился, за нашими вишнями. Вечером. Я у окна сидел и все видел. Огромный такой шар, с огненным хвостом. Я отцу рассказал, а он не поверил. Смеялся. И никто не поверил. Вы прилетели и улетели снова, но я знал, что вы вернетесь. Когда я немного подрасту. Я вас давно жду. Мне даже снилось…

И впрямь фантазер. Жертва научно-фантастических книжек. Господи, как я тогда гонялся за ними. Теперь ни за чем так не гонюсь. Бежишь из сельской библиотеки и прячешь под фуфайкой, прижимаешь к сердцу книжку, а сердце чуть не выскакивает из груди в предчувствии праздника (теперь по своим-то скользнешь взглядом, по сигнальному экземпляру, еще пахнущему типографской краской, глянешь на объем, правильно ли гонорар начислили…) — и нет уже под тобой усеянной заледеневшими конскими котяхами улицы, по замерзшим комьям которой чиркают твои бурки, как по небу

идешь, голубому, ласковому, и руки в рукавах засаленной мачехиной фуфайки — не руки, а крылья. Заходишь в хату, отец курит самосад и сплевывает на пол, а мачеха, молодая мачеха, вечно ворчащая на отца, старого отца, в углу, у мисника, толкушкой разминает для свиней картошку с половой, толчет так, что аж где-то в трубе ухает. А ты, как игла сквозь шитье, проскальзываешь через будничные сумерки на печь, зажигаешь каганец на печном оконце и нетерпеливыми, непослушными с мороза пальцами раскрываешь книжку и затаив дыхание ступаешь на только что открытую тобой планету… Ведь было и это в его детстве, было, а он уж сколько лет помнит только обиды да боль. И этот фантазер и мечтатель с добрыми и честными глазами — не выдуманный, был он, был, вот стоит он перед тобой в обувке из пакульского чернозема, в рубашке из серого небеленого полотна, неотделимый от полоски пакульского сжатого поля и от его мечты о будущем…

— Конечно, будущему — только и дел, что думать о тебе, лететь к тебе в Пакуль… — Иронию я еще усилил кривой ухмылкой. — Почему именно к тебе, а не к кому-то другому? Ты что, лучше всех?

Видел, как помрачнело лицо мальчишки, как наморщился лоб и глаза упрямо сверкнули из-под круглых надбровий. Не ты первый, не ты последний спрашиваешь: "А ты что — лучше всех?" Еще и в Тереховке будут донимать меня, обвинять в нескромности, пока сам не дойду, что я такой же, как и другие, и нечего лезть из кожи, доказывая, что ты способен на что-то большее, что без написанного тобой мир обеднеет. Как тонка грань между манией величия и манией скромности, оправдывающей посредственность и существование человека-поплавка, который всегда на поверхности, потому что раскинул руки-ноги и лежит лежмя, отдавшись течению, пальцем не пошевельнет, чтоб поплыть против течения! В

конце концов ты понял, что легче жить — как все, легче писать — как все, легче думать — как все, бесценная формула Бермута — пиши и живи как все. Бермут лишь сформулировал то, что было в тебе, и тем взял грех на себя, толкнул на самообман — виноват Бермут. А в действительности ты сам убедил себя, что ты — такой же, как миллионы, миллиарды других, из того же теста, такой же смертный, и потому смешно требовать от себя чего-то большего — жить напряженнее, брать на плечи бóльший груз. Скромному прожить легче. И ты, ты убил в себе вот этого чудаковатого хлопчину, который так много хотел! Ярослав Петруня — убийца Ярослава Петруни, настоящего. Убийцу всегда тянет на место преступления. Детективная история. Приключенческий роман…

— Может, я самый лучший, а может, и нет… А только я знаю, что они — прилетят. А если вы оттуда, из будущего, то и вы об этом знаете…

Я знаю. А что я знаю?

Я знаю, что и у меня, как у героя известного фильма Бергмана, была своя Земляничная поляна.

Еще был жив отец. Я приезжал в Пакуль чаще и ходил искать в Ближнем овраге склон, сплошь усыпанный земляникой, но так и не нашел. Склоны оврага засадили соснами, акациями, и вскоре Ближнего оврага не стало, средь поля зашумел лес. Сегодня я увидел овраг таким, каким он помнился с детства — зеленым оазисом посреди стернища, извилистой лощиной с множеством рукавов, нанизанных на нее, словно веточки на гибком стебле. Каждый рукавчик разнился от другого, имел свой микроклимат и свой травяной покров, как выразился бы наш учитель ботаники. Даже противоположные склоны одного и того же рукавчика не были одинаковыми, потому что на южных, против солнца, трава

рано выгорала и сквозь сухостой желтели скулы круч, в которых селились колонии стрижей, а ниже темнели лисьи норы. Зато почти в каждом рукаве оврага росли дикие груши, в густых, колючих кронах которых гнездились пугливые голуби, они вспархивали из гнезд, едва я появлялся на гребне яра, и серыми тенями мелькали вдоль извилистой лощины, вычерчивая в воздухе ее сложный контур.

Белая свинья с сизыми подпалинами на боках и розовой торбой брюха поприветствовала меня благодушным хрюканьем и снова принялась за колоски. Впрочем, Рохля никогда не была сентиментальной. Первые стихи свои читал я среди пакульского поля Рохле, и глаза мои увлажнялись от восторга, свинья старательно делала вид, что слушает, наставив лопастые уши, на самом деле материальное интересовало ее неизмеримо больше, чем духовное, и даже наивысшие всплески моего таланта не могли оторвать ее от молодой травы.

Малый Петруня брел за мной, взрослым Петруней. Босиком по стерне. Он брел по стерне, а меня кололо сквозь подошвы финских башмаков. И я обрадовался, когда началась лощина, поросшая молодой отавой. Я шел по дну яра, заглядывая в каждый рукавчик, разыскивая Земляничную поляну, а мальчишка ступал след в след, как моя коротенькая полуденная тень. Верно, дивился блужданиям пришельца. Ведь в памяти его еще не было Земляничной поляны. Она появится года через два-три, когда я понесу свидетельство за семилетку в Шептаки, чтоб приняли меня в восьмой класс. Как мертвы слова, когда рассказываешь! А память помнит не слова, а свернутое в трубку свидетельство об окончании школы, оно сладко пахнет, помнит шеренги освещенных утренним солнцем верб вдоль дороги. А в школьном коридоре, возле канцелярии, — девушка в белом платье, с веселыми дразнящими глазами (он ее впервые заметил на выпускном

вечере — глаза, и красные, словно подкрашенные, губы, и ямочки на румяных щеках). И пронизывающий тебя смех, и зов едва пробудившейся женственности, ты еще не знаешь этому имени, как и тому, что бунтует, колобродит в тебе, и запах дешевого одеколона, и случайное касание горячей руки. А потом ты везешь ее назад, в Пакуль, на ее же велосипеде, и вербы по сторонам дороги как горящие факелы — все выше, выше в жарком мареве летнего дня. Какие ненужные и смешные все эти знаки препинания и законы синтаксиса! Щекочущее прикосновение ее волос к твоим губам и руки на руле у твоих рук в белом платье как два крыла которые несут тебя над всем миром а ты хочешь земляники — хочу и снова смеется чего она смеется от того смеха все ее тело твое тело в огне в пламени и солнце над головой пахнет земляникой а где земляника и он сворачивает на тропинку к Ближнему оврагу через пшеничное поле начинающее уже золотиться и хоть оба знают что в Ближнем земляники нет колоски пшеницы щекочут ее ноги она снова смеется и поднимает голые ноги над полем а подол ее платья встречный ветерок подтягивает к ее коленям и он боится глянуть вниз на ее оголенные ноги они кладут велосипед в пшеницу и идут по крутой изрытой дождями тропке искать в овраге землянику которой здесь никогда не было и сейчас произойдет чудо они увидят склон сплошь в красных каплях спелой земляники в одном из рукавчиков под стеной пшеницы где густо вырос заячий холодок а после поев земляники они сядут под стеной пшеницы возле заячьего холодка подстелив его старенький пиджак и весь Ближний овраг и пшеничное поле и весь белый свет а потом она его поцелует первая поцелует и прильнет к нему смешному и беспомощному мальчишке высокой грудью и больше ничего не будет кроме этого поцелуя потому что он окажется таким пентюхом и над ним еще долго будут подшучивать сельские парубки которым она расскажет как лакомились земляникой в Ближнем овраге с Петруней и как он побледнел когда она его поцеловала и стал мучить ее своими

стихами а она сказала что стихи надоели ей на уроках литературы вскочила и побежала со звонким смехом который еще долго а может всю жизнь будет отдаваться в его ушах побежала напрямик по пшенице высоко вскидывая свои голые полные ноги…

И он остался у Земляничной поляны со своими стихами и бешено стучащим сердцем. Через год она бросила школу и расписалась с киномехаником, который приезжал из города на трофейном немецком мотоцикле крутить кино, но навсегда поселилась во мне с воспоминанием, запахом земляники. В жизни каждого есть своя Земляничная поляна. Но, старея, совсем не обязательно ее искать.

Я резко обернулся:

— Ну чего ты тащишься следом, как тень?!

— Мой овраг, хочу — и иду… — набычился, переступил с ноги на ногу в своих, из натурального чернозема, носках. — А вы тута — в гостях, хоть, может, и из будущего.

И этот юнец говорил правду! Это действительно его овраг, а мой овраг давно зарос сорняком и акацией.

— За земляникой в Ближний бегаешь?

— Так в Ближнем ягод нет. Один щавель.

— Есть в Ближнем земляника, ты не знаешь.

Я упрямо брел по тропе, полузакрыв глаза. Меня вела память. Один рукавчик, другой. Вот здесь мы с ней чуть не свалились в колдобину, поросшую осокой. Вот и дикая

яблонька-кисличка. Ноги сами повернули направо, в рукав. Грушка, с которой тогда вспорхнул голубь, а голубка мужественно сидела в гнезде, хоть мы прошли в каком-то метре от нее. За грушкой — низинка, похожая на зеленую тарелку, и вдруг — такой памятный, такой волнующий, словно все это было вчера, а не четверть века назад, земляничный дух, и склон, красный от земляничного листа, и — то здесь, то там на порыжевших стебельках — красные капли высушенных на солнце ягод. На земляничном запахе настояны и земля, и трава на склоне, и даже кусты заячьего холодка на гребне, за которым золотится стерня. Я победно оглядываюсь на мальчишку:

— Что я говорил?! Есть земляника в Ближнем!

— Так я, дядько, сюда не заходил…

Еще придешь, через два года — и на всю жизнь. Потом много женщин будут любить тебя, а некоторых и ты будешь любить, но ни одна из них, даже Маргарита, не заслонит ту, пропахшую сладким земляничным духом, в белом ситцевом платьице. Мальчик этого не поймет. Надо прожить все сорок, чтобы понять. Неужто он уже прожил сорок лет? Полуфинал — это называется в спорте. Пришел к полуфиналу ни с чем. С пустыми руками. С пустым сердцем. Этот мальчик богаче меня в тысячу раз, потому что у него его розовые мечты и уверенность, что мечты сбудутся.

— "Не заходил, не заходил"… — раздраженно передразнил я. — Хочешь быть писателем, а не знаешь, что в Ближнем овраге есть земляника. О чем же ты будешь писать?!

— Про все, что увижу. На что ни посмотрю, в книгу просится. Про дядьку Калайду и дядьку Покрышня, про дядьку

Артема, про всех соседей — как не написать? И про небо, и про туман, как в овраге собирается и выкатывается на жнивье, и про заячий холодок, из которого зайчихи себе монисто делают, и про стерню — про все напишу. И про свою Рохлю, и как колоски собирал и кок-сагыз, и как нашу Лысуху в плуг впрягали, и как мама завидовала хлебу, что нищий ел, про все напишу, кто ж, если не я! А вы хоть из будущего, а несправедливые ко мне.

— Почему это я несправедливый?

— Потому что плохое про меня говорите. Говорите, что я писателем не буду. А я, чтоб вы знали, буду!..

— Стойте, дядько, стойте!

Шмель кружил возле меня, маленького, и меня — взрослого, розовый под солнцем, даже черная бархатная спинка его была с розовым отсветом сентябрьского заката. А мы с мальчиком — центр Галактики, вокруг которого — шмель-планета. И правда, было что-то космическое, вечное в этой тишине, подчеркнутой густым гудением шмеля, в карте сжатого поля перед нами, тоже розового, и в неожиданности среди этого розового мира, зеленого оазиса оврага, тени на склонах которого вытягивались и темнели.

— Травяной, в гнездо летит, сейчас сядет.

— Откуда ты знаешь, что травяной и в гнездо летит? — недоверчиво спросил я.

— Так он ведь рассказывает, разве не слышите?

Неужто было время, когда я понимал язык шмелей?

Шмель описал вокруг нас еще круг, закачался над зеленым склоном, словно маятник часов, и упал в траву. Мальчик полез по склону, я — следом, скользя по траве подошвами своих дефицитных башмаков, предназначенных для асфальта и паркета. Он взобрался первым и великодушно подал мне руку. На пальцах темнели полумесяцы ногтей. С трепетом взял я его руку в свои, ухоженные, с тщательно обработанными ногтями пальцы — мощный электрический разряд, взрыв античастиц, вспышка неведомой энергии времени! Но ничего не произошло. Я держал за руку самого себя — двенадцатилетнего. За руку, темную от загара и пакульской пыли, пакульского чернозема, казалось, навечно въевшегося в кожу.

— Кстати, уважаемый, ногти стричь и мыть руки с мылом должны даже будущие писатели.

— А у нас в лавке мыла не бывает. — И против солнца было видно, как покраснел мальчик.

— Чтоб не было мыла?! — возмутился я. — А мать чем стирает?

— Мачеха в золе белье вымачивает.

Я позволил себе забыть, что этот мальчик живет в послевоенном селе. Читает при каганце. Еще недавно писал бузиновыми чернилами. До умопомрачения крутит ручные жернова в сенцах. Носит исподнее из жесткого, как терка, полотна. Ездит во Мрин на подводе, запряженной волами. Из плодов цивилизации ему доступен лишь детекторный приемник, который он сам смастерил по схеме, напечатанной в пионерской газете. Он, сорокалетний Ярослав Петруня, прожил все фазы научно-технического развития человечества

— от кресала и жерновов до японского магнитофона в своей "Волге". Но и у цветного телевизора не ощутил того волнения, которое колотило этого босоногого пастушка, когда в один исторический день, натянув антенну меж грушей и углом хаты, услышал в наушниках сквозь треск и шорох грозовых разрядов разноязыкий клекот радиомира…

Я уже не жалел этого босоногого пастушка из века послевоенного, каменного, из глухого полесского села, я завидовал ему.

Вот он осторожно раздвинул куст, под который упал шмель, и глазам нашим открылось гнездо — круглая стрешка, мастерски сплетенная из сухих травинок. Я тоже опустился на колени, в своей вельветовой японской тройке, — Ксеня никогда бы не простила мне этого! Мальчик легонько пробежал пальцами по стрешке и поднял ее: в гнезде лежали соты из бурого землистого воска, облепленные темно-красными шмелями; растревоженные светом, они засуетились, угрожающе загудели и начали взлетать в небо, а от сот, от травяного гнезда, от земли, обжитой шмелями, пахло так медово-пряно, что всех слов человеческих не хватит, чтоб этот запах описать, слова отступали перед таинством жизни, и какое это счастье, подумал я, быть к этой жизни причастным, не искать слов, а жить, чувствовать себя клеточкой необъятного земного тела, как этот босоногий мальчишка. И вот мы, снова опустив на гнездо стрешку, взялись за руки и удираем по склону от рассерженных шмелей, пока не падаем, с радостным хохотом, на дно оврага, под дикую грушку, листва которой уже по-осеннему тронута золотом. И тут я дергаю себя, взрослого, за рукав итальянского пальто, я, мальчик с книжкой, который пасет свинью вот на этом клинышке поля, над оврагом:

— Послушайте-ка, дядько…

Сперва я, взрослый, не понимаю, откуда эти удивительные звуки, такие странные, нежные, прерывистые, словно чья-то чуткая рука касается струн, натянутых над землею, склоны оврага отражают их, эхо творит вдохновенную импровизацию, и небо задумчиво слушает его. Ничего прекраснее, кажется, мне не приходилось слышать, даже в варшавских костелах, когда-то очаровавших меня органными космофониями. Но нет, слышал, слышал я эти первозданные звуки, таким вот мальчишкой прибегал сюда, усаживался под грушкой, скрестив босые ноги, вслушивался в эту живую музыку, еще толком не зная, что существует музыка, написанная людьми, потому что не слышал ничего, кроме визга гармошки у клуба да патефонных краковяков, моя первая филармония, мой первый органный зал, а я так и не написал о нем, привычно нанизывая красивые слова о соловьях, инерция мышления, инерция обсосанного литературного штампа. Пастушок словно услышал мои мысли, потому что спросил насмешливо (смолоду я был колючим, как ежик, это с годами научился улыбаться, когда нужно улыбаться, — рецензентам, критикам, редакторам, авторам предисловий и вообще людям нужным, а их, оказывается, так много, что улыбка моя разве что во сне сползает с лица, дает отдых мышцам; образчик коммуникабельности — Ярослав Петруня…)

— Это наши пакульские жабы поют, дядько, тут ключ и болотце в траве. А вы, может, думали — соловьи?.. Не-е-е, дядько, это жабы.

И мы уже карабкаемся на противоположный склон оврага по едва приметной в осоке и полыни тропке, а среди полыни — красные глазищи репейника; склон все круче, тени удлиняются, густеют, и лишь синяя полынья неба вверху, а ниже, где глиняные пролысины — провалья лисьих (а может, — волчьих?!) пор, — обглоданные, высушенные на солнце кости и кучки перьев, а мальчишка ступает привычно и смело,

потому что это ведь его овраг, его земля, теперь я понимаю, шагает, протяжно посвистывая, и вдруг на этот зов впереди нас на тропке появляется любопытная лисья мордочка.

— А вы, дядько, оглянитесь.

И сзади нас, в каком-то десятке шагов, словно видение — лисичка из зарослей полыни, торчащие ушки и хвост, будто мазок кисти цвета закатного солнца; одно мое неосторожное движение — и все исчезло, и только два огненных следа по склону, за гребень.

— Меня они не боятся, а чужого — чуют…

Я здесь — чужой, это правда. Давно. Уже четверть столетия. Страшно — чужой в стране своего детства. Можно жить за тысячи километров, на энном этаже, но не быть чужим. Чужой, когда это со мной произошло? А что, собственно, произошло? Произошло не сразу. Медленный отход. От себя. От того, что в тебе есть с рождения. Этой землей подаренного. Медленное самоотрицание. Медленное самоуничтожение. Шаг, еще шаг. Взамен вроде что-то приобретаешь, но то, что приобрел, не эквивалентно. Создавать себя нового можно лишь на фундаменте, укоренившемся в этих полях, в памяти о родителях твоих, в твоем роду, который ты научился громко называть народом. Без такого фундамента все тобой построенное рассыплется в прах, и выпестованное в таких трудах высокое, но бесплодное дерево бесплодным и усохнет, умрет.

И снова поле в стерне, как в позолоте, такой простор и ширь после сумрака оврага — до самой зеленой оторочки лугов, устланных льном (из глубокого колодца памяти всплыло вдруг, как цветет лен: сине-сине, а поутру — росинки в синих

чашечках цветов, поле льна незаметно сливается с небом, убирали лен ночью, чтобы не осыпался, в лунные летние ночи, и ночью возили — он тоже возил, наложишь ворох под жердь, взберешься по веревке под самое небо, до звезд, до луны, тебе подадут вожжи, нокнешь на коней — и небо над тобой качнется, воз, переваливаясь по пахоте, выплывет на дорогу, дальше кони сами добредут до села, до сарая, а ты лежишь на шуршащих снопах и ищешь средь щедрой россыпи звезд над самой головой Полярную звезду и Большую и Малую Медведицы, воображая себя капитаном корабля, а может, и звездолета, в мечтах ты уже далеко, в ином времени)… Этот хлопчик живет в своей галактике, по ее законам, и есть у него что-то такое, чего нет и никогда не будет у моего сына с его японским магнитофоном и его рационализмом…

— Тише, дядько, тише, вспугнем!..

Хорошо ему, он идет по стерне босиком, как по ковру, а у меня под башмаками стерня ломается с жестким хрустом. Хруст стерни перерастает в оглушительный шум крыльев, это само поле, обретя крылья, неистово хлопая ими, взлетает в небо, заслоняя на миг багровый шар солнца над стрехами показавшегося вдали села.

— Да не пужайтесь, дядько, это ж мои куропатки, они туточки полдничают…

Как же, испугался я каких-то куропаток. Подумаешь, впервые в жизни куропаток увидел. Мой проводник по этому раю, аду и чистилищу одновременно обладает неприятной привычкой — подтрунивать над старшими. С годами он себя переломает. Научится быть вежливым и терпимым. Научится прощать людям их слабости. И себе научится прощать. Человеческие слабости… Научится линять семь раз на дню. Семьдесят семь. А пока что — пусть подтрунивает. Я на него

не сержусь: все, что со мной сегодня происходит, — уже в нем. В его глубинной, врожденной честности. Врожденная честность — как подземный ключ, рано или поздно, а прорвется из-под пластов. И родит реку, на берегах которой будет новая жизнь. Пусть через десятилетия духовного оцепенения. Как речушка в Пакуле, от которой осталось когда-то лишь русло посреди села. Где-то в полях распахали истоки, нарушили устье, и вода ушла под землю. Еще при наших дедах. И вдруг в одно прекрасное утро пакульцы проснулись на берегу реки…

— А туточки мои русалочки хороводят. Объездчик наш, Покрышень, хотел эту лощинку для своей коровы выкосить, а они всю траву вытолкли, а где вишенка — расчесали и в косы заплели, так он сердится на меня…

Стоим над лощинкой, которую до краев заполнил прозрачный вечерний туманец. Неужто было время, когда он искренне верил в русалок? Еще в Тереховке, когда шел с лесного хуторка, лунная ночь, узкая дорога меж зарослей орешника и трепетное предчувствие чуда — вот она появится из-за кустов, юная хозяйка леса, душа леса, душа лунной ночи — и посветлел, завьюжил клок тумана впереди, а он ускорял шаги, чтобы догнать, и боялся догонять, и сладкий страшок, и предчувствие таинства…

— Чего же сейчас твои русалки не танцуют?

— Так они только в лунные ночи являются. А теперь ночи темные. Водяные русалки — те каждую ночь у Жерела плескаются, им в воде светло.

— А ты их видел?

— Полевых? Да что их видеть, если я допоздна свинью пасу. И разговаривал. Одна меня и умывала вечерней росой. Чтоб ты был красивым с лица, чтоб тебя девчата всю жизнь любили, говорит. А на кой мне эти девчата?..

"Если бы она умыла тебя и утренней росой, чтоб не только тебя любили, но и ты любил!.." — подумал с внезапной тоской, не демонстрируя свой скепсис, засмеялся:

— Ну ты и фантазер! Гляди, как бы твоя Рохля домой не сбежала, пока ты тут русалок высматриваешь.

— Не-е, она не побежит, вона-а где пасется. А как напасется, сама пришлепает к скирде и пятачком книгу с колен спихнет: будет, мол, читать, садись на меня верхи, потопали помалу домой…

Он вынырнул из оврага, как из-под земли. На черном мерине, в хромовых сапогах, галифе из грубошерстного сукна, обшитых хромом, в распахнутом на груди кителе, из-под которого выглядывала полотняная рубаха. И сапоги, и галифе, и китель, и вылинявшая военная фуражка с потрескавшимся козырьком — все было заношенное, потертое, заеложенное на локтях и коленях до блеска. Я сразу узнал Семена Покрышня, хоть виделся с ним в последний раз лет пятнадцать назад, когда еще жив был отец и я раза два в году наведывался в Пакуль. Уже тогда он вышел на пенсию, жив ли сейчас? В колхоз не ходил, потому что не предлагали никакой должности, молодые позанимали, но частенько наведывался в клуб, поиграть в шахматы. Покрышень был бессменным, в течение десяти послевоенных лет, чемпионом Пакуля по шахматам. В тот вечер я безжалостно, под ехидные реплики зрителей в адрес развенчанного шахматного авторитета выиграл у Покрышня одну за другой шесть партий, а когда в седьмой партии я блестящим маневром провел свою пешку в

тыл противника и поставил второго ферзя, Покрышень перевернул доску, надвинул на глаза старую солдатскую шапку, втянул голову в плечи и молча вышел из клуба. Запал борьбы стих, мне стало жаль старика. И я сказал об этом Бублику, когда мы вышли на крыльцо покурить. Бублику, который окончил училище механизации, руководил тракторной бригадой, а вечерами пел в клубном хоре. "А он нас жалел?" — жестко спросил Бублик. Это правда. Покрышень не жалел ни нас, ни родителей наших. Еще когда ходил с портфелем финагента, и позже — когда объездчиком в колхозе пристроился, из финагентов уже выгнали, рыльце было в пушку. Он сек нас по икрам батогом, если заставал в колхозном горохе, а времена были голодные, и мы ждали того гороха, как манны небесной. Он заворачивал наших свиней и телят, едва они приближались к потраве, сгонял на Общий двор, а мы бежали следом и плакали, зная, что родителям предстоит штраф, а нам выволочка. Он не разрешал пасти скот даже на толоке, где густо росли молочай и сурепка. Он гнал нас с полевых дорог, словно мы только и думали, как потолочь колхозное поле. Он запрещал нам пасти в лощинках на стерне, берег их, чтоб выкосить самому. "А он нас жалел? — повторил Бублик, потому что я молчал. — Может, хоть в клуб теперь будет реже шляться, никакого нет спасу от него: то не так поете, то не тот стих рассказываете, то на сцене головы опускаете, а головы нужно высоко держать, потому, мол, что вы на сцене наш Пакуль представляете... Как-то я озлился, терпение лопнуло, гаркнул на него: "Прошло то время и не вернется, когда вы учили людей, как по свету ходить, а сами — что валенок серый!" Так он мне политику пришил, дискредитацию, в район ездил, а в районе посмеялись: помогать молодым надо, а не подножки ставить".

И все же я жалел Покрышня, наверное, уже тогда понимая, что есть во мне или будет что-то и от него.

Я сразу узнал Покрышня, еще довольно молодого, краснощекого, гладко выбритого, с цепкими узкими глазами под выпуклыми надбровьями. На всякий случай я отступил в тень от скирды; впрочем, он все равно меня не видел, не мог видеть, мы с ним существовали в разных временных измерениях.

— Перед кем ето ты, писатель, ораторствуешь? Перед свиньею своею, што ли? Так она только и способная тебя слухать… — хохотнул и лихо соскользнул с коня. На стерне, распустив широкие крылья галифе, он напоминал ворона. — Чи у тебя от етих книг в башке повредилося?

— Коли вы, дядько, такой большой начальник на селе, все вас боятся, даже моя свинья как учует, так пригибается, чего ж про книжки говорите, как моя неграмотная мачеха? От книжек только польза голове. Без книжек голова усыхает, и дядько Калайда так говорят.

— Ну-ну, так уже и усыхает… — Покрышень поправил картуз. — Много ты знаешь, як и твой Калайда. А того вы с Калайдой не разумеете, што можна и без книг знать основни напрямления. Меньше б в книги заглядал, так и свинья меньше б в школу лезла.

И вот оно уже названо дважды, имя, которое я ухитрился не называть на стольких страницах своей исповеди, хоть Калайда был со мною неотступно, в мыслях моих, в болях и муках моих, когда ездил во Мрин и Пакуль, и теперь, когда пишу об этом. Однако назвать Калайду — назвать и вину мою перед ним, она еще, возможно, не осознана как следует, еще существует на периферии моего сознания, я еще защищаюсь, но она уже стучит все громче в моем сердце. Я чувствую себя птенцом, взлетевшим в небо с человеческой ладони и так скоро забывшим ту руку, которая подарила ему эту синь, этот

безграничный простор. Я взлетел с руки Калайды. Безногого Калайды. Чудака Калайды. Пакульского книгоноши Калайды. Я не отказываюсь и теперь, когда табу с имени снято, когда Калайда пришел в мои писания (да и всегда, даже в годы, когда я изо всех сил старался его забыть, он был во мне). Я вспоминаю день, когда начался Ярослав Петруня, писатель, известный, талантливый, и т. д. и т. п. Солнечным майским днем. Майским — потому что я играл с майскими жуками — хрущами — на лавочке у Артемова подворья, я отлично помню. И вот за крайней хатой заскрипела коляска Калайды, а скрипела она громко, мы издали слышали ее. Дядько Калайда подкатил к лавочке и остановился. Не помню уже, как он пристраивал в коляске фанерный чемодан, выкрашенный в зеленый цвет, с висячим замочком. И саму коляску толком не помню, на высоких велосипедных колесах, с ручными рычагами. Не представляю, как хватало у него сил дергать эти рычаги двадцать верст от Мрина и обратно, до Пакуля, когда он стал сельским книгоношей, да еще по нашим полесским дорогам. Но помню, будто все это вчера было, как Калайда отпер зеленый фанерный чемодан, полный книг. Новеньких, сладко и влекуще пахнущих краской. С картинками и без картинок. Тоненьких и толстых, которые, как мне тогда казалось, будешь читать годами. Я еще никогда не видел столько книг. Сельской библиотеки не было, она откроется года через два, когда я уже буду в четвертом классе. Один учебник на десяток учеников. Писать учились мелом на дощечках. Керосиновая лампа — у Покрышня, у председателя колхоза, и у Калайды, он получал пенсию от военкомата. Радио — только у Покрышня, на все село. И вдруг — полный чемодан книг!

— Дак моя свинья, когда я в голос читаю, никогда в шкоду не пойдет, дядько, очень любит слухать, — зазвенел голосок малого Петруни. — Паць-паць-паць, иди почитаем!

Свинья качнулась и поплыла к скирде. Над стерней светился розовый пятачок: "Рох? Рох?"

— Это она спрашивает, якую книгу будем читать. Про метеоры сегодня почитаем, Рохля. Она больше всего про звезды любит слухать.

— Конечно, и твоя Рохля хоть разок в небо да глянет, когда твой отец будет ее смалить… — хохотнул Покрышень.

— Не-е, дядько, она у меня и теперь астроном. Ляжет в лужу на спину и у небо глядит, не сгонишь. Рохля, это какое созвездие? — мальчик нагнулся, развернул перед свиньей книгу.

"Рох-рох-рох", — заквохтала свинья.

— Правильно, правильно, молодец, Рохля… созвездие Козерог. Не все еще буквы она у меня сказать может. Иди, Рохля, пасись, скоро домой, ставлю тебе сегодня пятерку.

Свинья развернулась, как разворачивается корабль на воде, задрала перископ хвостика и двинула назад, в лощину.

— Ну ты, конешно, циркач, — смеялся Покрышень. — Тебя с твоей свиньею надо в городе за деньги показувать. Тогда бы отец твой по налогам должником не был. Ну насмешил! Свинья — гастроном!

— Астроном, дядько, гастроном — это в городе, где хлеб и колбасу продают, магазин такой, гастроном называется.

— Знаю и без тебя, что такое гастроном, тоже мне, шмендрик ученый нашелся. Под носом утри, тогда берись Покрышня учить.

— Да я разве что, дядько? — зачастил мальчишка. — Я ж и говорю, что вы все знаете и все можете, если захочете, и даже галактику Андромеды в свой бинокль разглядеть.

— А на кой мне твоя Галактика сдалась? Есть мне на кого в биноклю свою смотреть. Я за три километра в биноклю засеку, что твоя свинья — в потраве или ты сам — в горохе колхозном.

— Галактика Андромеды — тамочки миллиарды звезд и планет, а лететь к ней миллионы лет со скоростью света.

— Ну ты, конешно, брехун добрый, как и твой Калайда. Хто ж ето от зорь дорогу мерял? Може, ты?

— Ученые меряли, и в книге вот тут написано…

— Дай-ка сюда твою книгу. Может, ты не то читаешь, что нужно… — Покрышень взял из рук мальчика "Занимательную астрономию", долго вертел ее в руках, затем раскрыл на заложенной соломинкой странице. — Ну, где тут твоя брехня? Да-ле-ко за гра-ни-цей… — читал по складам, как первоклассник.

— Границами, — поправил свинопас, заглядывая в книгу через локоть Покрышня.

— Гра-ни-ца-ми на-шей ха-лах-ти-ки…

— Галактики, а не халахтики, дядько.

— В бес-край-них простор-рах…

— Просторах, дядько.

— Все-ле-нной дви-га-ет-ся бес-чис-ло-вое…

— Бесчисленное…

— Мыно-же-ство по-хо-жих зивезь-ных.

— Да не зивезьных, а звездных!

— Сис-тем они на-зы-ва-юца халах-тика-ми…

— Галактиками!

— Бли-жай-шую к нам зы-везд-ную сис-те-му видно у саз-вез-дии…

— Созвездии.

— Ан-дро́-мады.

— Андромеды!

— На запад от ее звез-ды У…

— Надо читать Вэ, дядько. Это латинская буква так пишется!

От скирды мне видно, как багровеет, набухает кровью лицо Покрышня. И я знаю, что сейчас произойдет. И мне стыдно за себя, въедливого. И стыдно за Покрышня. Я

отступаю еще дальше, за скирду. Правая рука объездчика дернулась, и кнут стеганул малого Петруню по ногам. Книжка полетела низко над полем, словно аист, летела долго и упала в стерню. Мальчишка, прихрамывая, запрыгал вдогонку за книгой. А Покрышень матерился вслед:

— А мать твою, учитель! Я таких учителей дюжину под ноготь, как вшей! Латинского ему захотелось! А хлеб чей ешь, падло?! Сегодня по-латинскому, а завтра по-чейному захочешь?! Я тебе устрою!

А может, и правильно я сделаю, что выиграю у Покрышня в шахматы?

Объездчик закурил. Курил он в те годы только "Казбек". Когда приезжал в хорошем настроении, отдавал мне пустые коробки с серебряной фольгой. Я делал из нее закладки для книг. И серебряные кораблики. Коробки еще долго хранили запах дорогого табака. Городом пахли. Другой жизнью пахли. Мальчик гладил ушибленную ногу. В глазах его стояли слезы. Покрышень влез в седло. На лошади он выглядел внушительно. Как я — за рулем антрацитовой "Волги".

— Вы, дядько, не сердитесь, я ж не хотел… — зазвенел над полем смущенный голосок свинопаса. — А по-латинскому я немножко букв знаю, совсем мало…

Покрышень молча курил.

— И те, што знаешь, забудь, чужое нам ни к чему, еще неизвестно, какая у тех латыней политика на данном этапе… — сказал после долгой паузы.

— А про вас, дядько, я в книжке напишу, как стану писателем.

— А што же ты такого про меня напишешь?

— Напишу, как вы на коне ездите, ровно самый наивысший генерал и начальник.

— Пиши, писатель. Только дашь мне почитать сперва, что там намарлякаешь. Не то я так тебе пропишу, ежели наврешь про меня, как про тех русалок…

И поехал, высоко подскакивая в седле, будто танцевал вприсядку. Все дальше и дальше, пока не растаял в вечерней мгле.

Теперь я уже сам хотел, чтобы на полевой дороге появился Калайда, и он появился, как появлялся, возвращаясь из дальних сел, когда я пас свою Рохлю. К тому времени кооперация уже выделила ему подводу, организовав первый в районе книжный магазин на колесах. Конь был старый, как и хозяин, ласковый, смирный белый мерин, это я помнил, а повозка — военная, широкая, на задке — дощатый ларь для книг и навес. Сначала я увидел розового в свете заката коня, а потом из-за пригорка выплыла дощатая будка, и сам Калайда на передке с выставленными вперед протезами. Костыли, как всегда, лежали сбоку, под рукой. Дымила самокрутка, как полевая кухня, он курил нещадно, свертывая желтыми от никотина пальцами толстенные цигарки не из тонкой папиросной бумаги, которая продавалась тогда, а из газеты, крошки самосада желтели в его роскошной седой бороде.

— Бегу, дядько Андрей, бегу! — малый Петруня поскакал по стерне, враз забыв о стычке с Покрышнем, забыв обо мне,

обо всем, кроме Калайды и его книг. Я не ревновал. Я ведь тоже забывал обо всем, когда заходил в боковушку к дяде Андрею, заставленную стеллажами с книгами. Я страшно завидовал самому себе, мальчику, который с такой легкостью может сейчас нестись навстречу Калайде. И смотреть его книжки. Слушать его рассказы. Я не решался вот так сразу подойти к Калайде. Что скажу ему? Ему, истинному народному интеллигенту? Возможно, придет время и я решусь свидеться с ним. Я напишу о его подвиге — в послевоенном селе. О стране знаний, дверь которой он отворил не только мне, но и многим подросткам из окрестных полесских сел. О книгах, которые он развозил в инвалидной коляске. А после — на подводе. А потом — на специальной машине, это была уже настоящая разъездная книжная лавка. Он написал об этом книжечку. Там есть строчки и обо мне. Сегодня я стыжусь их цитировать. Калайда верил в мой талант. Я тоже верил. Когда-то.

Теперь хочу поверить заново.

Вот они сидят рядом на повозке, малый Петруня и Калайда. Я не слышу их голосов, но догадываюсь, о чем они говорят. Мальчик рассказывает о прочитанном за день, а Калайда — как понимать прочитанное. И что прочесть. И сейчас достанет книжку, которую специально приберег для своего читателя. Денег на книги у меня, конечно, не было, у отца едва находилось на учебники и тетрадки. Калайда давал мне книгу на день, на два, на три, в зависимости от толщины. В те годы я научился быстро читать. А иногда Калайда, если был в добром настроении и не ныли у него к дождю обрубки ног, рассказывал о боях с деникинцами — он тогда был совсем юным. На стене его боковушки висела пожелтевшая фотография: он — в длинной шинели, в буденовке, а лицо детское со взрослыми глазами. Или о встрече с молодым Тычиной в Киеве рассказывал. Или о путешествии с капеллой

Леонтовича по Украине, в двадцатых годах. Про свою встречу и беседу с Горьким. Или про коммуну, которую он организовал где-то на Звенигородщине. А может, про тот его последний бой, вот на этой полоске поля, у нашего села, когда ему, пулеметчику, снарядом из немецкого танка оторвало ноги. Здесь, на краю пакульского поля, — кровь Калайды. А была бы и могила Калайды, если бы не тетка Ольга, которая нашла и выходила его. У тети Ольги он и остался, жена с дочкой погибли в эшелоне эвакуированных еще в сорок первом, а на сына пришла похоронка уже в послевоенное лето.

…Я свернул на стерню. Костер догорал. Мальчишка лихорадочно листал книжку.

— Дома дочитаешь.

— Надо дядьке Калайде книжку завтра отдать, он новые привез. А мачеха керосин не разрешает жечь.

Пламя пыхнуло искрами в ночь и погасло. Мальчик затоптал золу босыми ногами, взял скрученные из соломы жгуты.

— Так я, дядько, погнал.

— Будь счастлив, хлопче. — Я словно отрывал его от себя — с кровью. — Будь счастлив.

— Бувайте и вы здоровы! — Крикнул уже со спины Рохли, на которой сидел бочком, свесив ноги.

В поднятой руке вспыхнул соломенный жгутик. При изменчивом этом дрожащем красноватом свете мальчик читал, положив книгу на колени. Огонек все отдалялся, отдалялся,

вытягивая из меня силы. И я почувствовал: если не пойду сейчас за этим огоньком, уже не пойду никогда, и умру заживо, как зерно, что упало в землю, но не проросло.

И только я решился, край вечернего неба наклонился ко мне. Ближние звезды стали большими, как яблоки антоновки в наших полесских садах в такую вот сентябрьскую пору. Чумацкий Шлях[7] стелился через все небо широкой белой полосой. Метеоры роились, как золотые шмели в лучах утреннего солнца. Свет разлился по земле, и настал день. От риги к кладбищу (без крестов, как сразу после войны, только волны могил вокруг) светились мясистым листом рядки табака. На поле у Ближнего оврага зеленела молодая рожь. По полевой дороге от села к Ближнему оврагу шла женщина в длинной юбке, вышитом красном фартуке, в белой, из парашютного шелка, кофточке и такой же, скроенной из парашюта, косынке. Из-под косынки выбивались огненные волосы. И по всему исхудавшему, но такому живому, доброму, родному лицу — огненные веснушки.

Женщина прошла мимо, не видя меня. И лишь теперь я узнал в ней мать. И весь этот майский день сорок пятого года до мельчайших подробностей, словно я уже жил не своим, а тем далеким временем, открылся мне. С утра по дворам на правленческом жеребце носился Покрышень и выкрикивал: "Бабоньки, Победа! На митинг, бабоньки!" Митинг был среди дня, возле клуба, а до митинга мы с мамой, одетой по-праздничному, ходили в Ближний овраг за щавелем. Мама вела меня за руку, до сих пор помню тепло ее шершавой ладони. А потом мы увидели зайца, он перепрыгнул дорогу и спрятался в траве на кладбище. Я кинулся за зайцем и отстал от мамы. Возле стежки, ведущей через молодую рожь к Ближнему оврагу, мама остановилась, поджидая меня… Вся в серебристом сиянии звезд, она, казалось, не касалась ногами земли, будто небо, наклонившееся ко мне, когда я решился

начать все сначала, держало мою мать в своих невидимых ладонях.

— Ярославчик, где же ты?

— Я здесь, бегу! — ответил я дрожащим голосом на зов матери и побежал к ней, чувствуя, как майский ветер надувает мою рубашонку из парашютного шелка, щекочет худенькое детское тело. А ноги мои в модных финских башмаках оставляли в пыли на дороге маленькие босые следы…

1979—1984